



ДУГЛАС
КЕННЕДИ

ПОСЛЕ
ПОЛУДЕННАЯ
ИЗАБЕЛЬ

История одной
встречи

Впервые на русском языке

РИПОЛ КЛАССИК

Красивые вещи

Дуглас Кеннеди

Послеполуденная Изабель

«РИПОЛ Классик»

2015

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)5-44

Кеннеди Д.

Послеполуденная Изабель / Д. Кеннеди — «РИПОЛ Классик»,
2015 — (Красивые вещи)

ISBN 978-5-38-614541-5

Начало семидесятых. Париж Город, в котором секс и свобода - две из его бесконечных реальностей. Сэм, американский студент, встречается женщину в книжном магазине. Изабель загадочна, красива, и, в отличие от Сэма, опытна в любви. Юноша мгновенно влюбляется, но вид обручального кольца на ее пальце вызывает у него большие опасения. То, что начинается как мимолетная встреча в крошечной парижской квартире Изабель, превращается в историю пылкой любви, которая преодолевает время.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)5-44

ISBN 978-5-38-614541-5

© Кеннеди Д., 2015
© РИПОЛ Классик, 2015

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	36
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Дуглас Кеннеди
Послеполуденная Изабель

Постель одна, сны разные.
Китайская поговорка

Глава первая

До Изабель я ничего не знал о сексе.

До Изабель я ничего не знал о свободе.

До Изабель я ничего не знал о Париже, где секс и свобода – две из его бесконечных реальностей.

До Изабель я ничего не знал о жизни.

До Изабель...

Если смотреть в то зеркало заднего вида, что зовется памятью...

До Изабель я был всего лишь мальчишкой.

А после Изабель?

После «до» и до «после»... вот из чего сотканы все истории. Особенно те, что окрашены интимным флером.

А с Изабель все было интимным.

Даже если наши тела не сплетались в объятиях предвечерними часами.

Предвечерние часы с Изабель.

Великая константа той маленькой истории, которая для меня стала большой историей. Потому что это история моей жизни.

Всякая жизнь – быстротечная сказка. Вот почему мое повествование, ваше повествование, *наше повествование* так важно. Каждая жизнь имеет собственный смысл, каким бы мимолетным или второстепенным он ни казался. Каждая жизнь – это роман. И в каждой жизни, если позволено, бывают свои вечера с Изабель. Когда все возможно и бесконечно, и так же преходяще, как песчаная буря в Сахаре.

Предвечерние часы с Изабель.

Та точка на карте моей жизни, где в какой-то момент я пересекаюсь с самой неуловимой из всех субстанций:

Счастьем.

Париж.

Впервые я увидел его на двадцать первом году своей жизни. В далеком тысяча девятьсот семьдесят седьмом, в 8:18 утра, как подсказывали часы на моем запястье. Тремя минутами позже я прошел под вокзальными курантами в стиле ар-деко, царившими над холодными просторами *La Gare du Nord*¹.

Январь в Париже. Все вокруг, *noir et blanc*², утопает в бесконечной темноте. Я прибыл ночным поездом из Амстердама. Позади восьмичасовое путешествие, прерываемое мгновениями мимолетного сна, на жестком сиденье в тесном вагоне. На всем пути к югу пространство между моими ушами все еще было затуманено, после того как я легально накурился на дорожку травкой в кофешопе на Принсенграхт. У входа в *métro*³ я заметил небольшую булочную, где утолил ночной голод круассаном и крепким черным кофе. Рядом находилась табачная лавка. За три франка я приобрел пачку «Кэмел», обеспечив себя куревом на целый день. В считанные

¹ Северный вокзал (франц.). – Здесь и далее примеч. перев.

² Черно-белое (франц.).

³ Метро (франц.).

мгновения я, как и все остальные ожидающие поезда *Ligne 5*⁴, следующего на юг, погрузился в глубокий плен утренней сигареты.

Métro. В этот послерасветный час в одном из вагонов второго класса еще оставалось место для локтей. Все выдыхали клубы дыма и морозный воздух. Тогдашнее *métro* запомнилось всепроникающим ароматом горелого дерева и вонью неdezодорированных подмышек. Тусклые флуоресцентные лампы в деревянных вагонах отбрасывали подземный аквамаринный свет. И стены пестрели наклейками с просьбой уступить место искалеченным на войне.

У меня был записан адрес гостиницы на рю Жюссё. Пятый округ. Недалеко от *Jardin des Plantes*⁵. Полузвездочный отель с полузвездочной ценой: сорок франков за ночь. Шесть американских долларов. Что оставляло мне еще сорок франков в день на то, чтобы я мог кормить и поить себя, ходить в кино, курить сигареты, сидеть в *cafés*⁶ и...

Я понятия не имел, как закончить эту фразу. У меня не было плана или предначертанной стратегии. Только что я окончил один из университетов штата на американском Среднем Западе. И уже получил стипендию в юридической школе, гарантировавшей своим выпускникам прямой путь в высшие эшелоны власти.

Так что деньги, потраченные отцом на мое образование, не пропали даром, и теперь я заслуживал его самой высокой похвалы. «Молодец, сынок», – сказал он. Но что подпортило впечатление, поскольку шло вразрез с его взглядами на жизнь, так это объявленное мною в День благодарения решение о том, что сразу по окончании семестра я полечу через Атлантику.

Мой отец. Скупой на чувства и слова. Не чудовище. Не повернутый на дисциплине. Но отсутствующий. Даже несмотря на то, что никогда не путешествовал и проводил почти все вечера дома, уже к шести возвращаясь с работы. Он владел небольшой страховой компанией, где, кроме него, трудились еще трое агентов. Его отца, кадрового военного, всегда называли «полковником». Однажды, вскоре после того, как моя мать умерла от коварного скоротечного рака, отец с редкой откровенностью признался мне, что провел большую часть своего детства в страхе перед этим солдафоном. Отец никогда не бывал со мной строг, да я и не давал повода – ответственный ребенок, прилежный ученик. Я не высовывался, превратил себя в зубрилу, надеясь угодить отцу, неспособному проявить ко мне хотя бы немного теплоты.

Моя мать отличалась стоическим нравом. Тихая женщина, она преподавала в школе и, казалось, смирилась со своей безрадостной судьбой в браке с мужчиной, за которого согласилась выйти замуж. Она никогда не спорила с моим отцом, играла роль послушной хозяйки и воспитывала меня как «хорошего мальчика, предназначенного для великих свершений». Мама привила мне интерес к книгам. Она купила мне географический атлас и разожгла во мне любопытство и стремление к познанию мира за пределами наших сенокосов. В отличие от папы, она была очень ласкова со мной. Я действительно чувствовал ее любовь, хотя и излучаемую в свойственной ей размеренной манере. Когда она заболела, мне было всего двенадцать. Мой страх потерять маму был всепоглощающим. От постановки диагноза до смерти прошло шесть недель кошмара. О том, что у нее терминальная стадия рака, мне сказали лишь за десять дней до того, как она ушла из жизни. Я знал, что она больна. Но она слушала моего отца и продолжала отрицать окутывавшую ее обреченность. Как-то вечером мама призналась мне, что ее время подходит к концу, а на следующий день ее спешно доставили в больницу в Индианаполисе, в часе езды от нас. После этого я несколько дней переживал состояние безмолвной травмы. В ту пятницу папа явился в школу без предупреждения, шепотом переговорил с моей классной руководительницей, а затем жестом позвал меня с собой. Как только мы вышли на улицу, он сказал мне: «Твоей маме осталось жить считанные часы. Нам надо поторопиться».

⁴ Линия 5 (*франц.*) – одна из шестнадцати линий Парижского метрополитена.

⁵ Сад растений (*франц.*) – открытый для публики ботанический сад в Пятом округе Парижа.

⁶ Кафе (*франц.*).

По дороге в больницу мы почти не разговаривали. Но к тому времени, как мы приехали, мама уже впала в кому. Папа позволил дежурному онкологу провести все необходимые процедуры и подтвердить, что нет никакой надежды на то, что она переживет этот вечер. Мама так и не вышла из комы. Мне больше не удалось поговорить с ней, попрощаться.

Через год после ее смерти отец объявил мне, что женится на женщине по имени Дороти. Он познакомился с ней в своей церкви. Дороти была бухгалтером. И отличалась той же сдержанностью, что и папа. Со мной она обращалась с отстраненной вежливостью. Когда я поступил в университет штата, Дороти убедила папу продать наш семейный дом и купить жилье для них двоих. На самом деле я почувствовал облегчение, когда это произошло. И вообще был рад, что папа обрел эту холодную женщину. Это избавило меня от груза необходимости быть рядом с отцом, хотя сам он никогда не выражал ни малейшей потребности во мне. Потому что это означало бы показать сыну свою уязвимость. А отец никогда не посмел бы этого сделать. Дороти сказала, что в их доме для меня будет отведена гостевая комната. Я поблагодарил ее и... гостил у них по большим праздникам вроде Дня благодарения или Рождества, но в остальное время старался держаться подальше. Мое поступление в элитную юридическую школу папа и Дороти встретили полагаящимися звуками одобрения. Но как человек, не доверяющий большому опасному миру за пределами своего узкого жизненного опыта (он никогда не покидал страну, за исключением службы во флоте во время войны), отец с неудовольствием воспринял новость о том, что я собираюсь в Париж.

– Следовало бы обсудить это, сынок.

– Я и обсуждаю сейчас.

И я спокойно объяснил, что все те летние месяцы работы клерком в местной юридической фирме, десять часов в неделю подработки в университетской библиотеке, вкупе со строгим соблюдением проповедуемой им же добродетели бережливости, позволили мне скопить достаточно денег, чтобы обеспечить себе несколько месяцев проживания за пределами американских границ. Дополнительная учебная нагрузка в последние два семестра означала, что я буду свободен от колледжа и сопутствующих расходов всего через несколько недель.

– Я этого не одобряю, сынок.

Но он больше не поднимал этот вопрос, особенно после того, как Дороти заметила, что я только что сэкономил ему несколько тысяч долларов, получив диплом на семестр раньше срока. Отец отвез меня в аэропорт в вечер моего отъезда и даже вручил мне конверт с двумя сотнями долларов наличными в качестве «подарка в дорогу». Затем он коротко обнял меня и попросил время от времени писать ему. Тем самым он словно хотел сказать: теперь ты сам по себе. Хотя, по правде говоря, так было всегда.

В вагоне *métro* женщина, всего на несколько лет старше меня, оглядела мой голубой пуховик, мой рюкзак, мои походные ботинки. Я прочитал в ее глазах мгновенную оценку: *американский студент, впервые за границей, потерянный*. Мне вдруг отчаянно захотелось вырваться из этого фоторобота, сокрушить все ограничения, предосторожности и условности моей прежней жизни. Захотелось спросить номер ее телефона и сказать: «Подожди, пока не увидишь меня в более крутом прикиде». Но как все это выразить по-французски?

На рю Жюссё нашелся магазин армейской одежды, где продавали черные бушлаты – *Importé des États-Unis*⁷. Я примерил один и стал похожим на бродягу из романов Керуака⁸. Бушлат стоил четыреста франков – цена заоблачная для меня. Но это пальто я бы носил каждый день зимой. И это пальто позволило бы мне слиться с городским пейзажем и не привлекать внимания к моему тревожному статусу американца за границей.

⁷ Импортировано из США (*франц.*).

⁸ Джек Керуак (1922–1969) – американский писатель, поэт, важнейший представитель литературы «бит-поколения». Автор романов «В дороге», «Бродяги Дхармы» и др.

А я действительно был встревожен.

Потому что был одинок. И плохо владел языком. И без друзей. И лишенный жесткого курса, который до сих пор определял мою жизнь.

Тревожность – это головокружение свободы.

Теперь у меня появилась свобода.

И Париж.

И черный бушлат.

И ощущение, что моя жизнь представляет собой *tabula rasa*.

Чистый лист зачастую вызывает страх. Особенно у тех, кто воспитан с верой в необходимость строгой определенности.

В отеле я заплатил за неделю проживания, взял ключ от номера, поднялся наверх и захлопнул дверь, на несколько часов проваливаясь в беспмятство с одной-единственной мыслью:

Я не связан ни с чем и ни с кем.

Головокружительное осознание.

Мой гостиничный номер. Старая медная кровать с тонким, как вафля, матрасом. Фарфоровая раковина в пятнах и тронутые ржавчиной краны. Рябой шкаф красного дерева, выдавший виды кофейный столик и один стул. Цветастые обои, пожелтевшие от времени и сигаретного дыма. Маленький, но настырно стучающий радиатор. Вид из окна на переулок. Стены, пропускающие звук. Стрекот пишущей машинки. Бесконечный хриплый мужской кашель. Но я все равно спал. И проснулся ближе к вечеру. Ванная находилась дальше по коридору. Унитаз на уровне пола, предлагающий справлять нужду стоя или на корточках. Жестоко. Тесная душевая кабинка по соседству, отгороженная старой зеленой виниловой занавеской. Шланг с ручной лейкой. Хорошо хоть, вода горячая. Я намылил тело и волосы, смывая затянущуюся на целый день сиесту. Потом воспользовался грубым банным полотенцем, оставленным на кровати, чтобы вытереться и скрыть наготу на время обратной пробежки в свою комнату. Там я оделся и вышел в мир.

Пал снег. Париж казался выбеленным. Голод взывал ко мне. Уже больше суток я жил без нормальной горячей пищи. Я нашел небольшую закусочную сразу за бульваром Сен-Мишель. *Steak frites*⁹, пол-литра красного вина, *crème caramel*¹⁰: двадцать пять франков. Я поймал себя на мысли, что слишком щепетильно отношусь к деньгам, вечно копаюсь в противоречиях между ценой и истинной полезностью вещи. Бережливость и самоограничение – два главных жизненных кредо, внушенных мне еще в раннем возрасте. Теперь я хотел избавиться от них. Но при этом хотелось как-то пережить следующие пять месяцев без необходимости бежать домой в поисках работы. С первого июня меня ждала летняя подработка клерком у федерального судьи в Миннеаполисе. А с сентября начинались занятия в юридической школе со всеми вытекающими последствиями. Но, пока ничего из этого не наступило, я пребывал в настоящем, здесь и сейчас, свободный от каких-либо обязательств... за исключением того, чтобы не вылезать за рамки бюджета.

Почти весь вечер я бродил по городу, не обращая внимания на холод и все еще падающий снег. Если вам не посчастливилось вырасти в окружении городского эпического величия – или там, где хотя бы что-то намекает на монументальный историзм, – Париж может вызвать ощущение пришибленности. Но, хотя его грандиозные архитектурные декорации ослепляли,

⁹ Бифштекс с жареным картофелем (*франц.*).

¹⁰ Крем-карамель (десерт) (*франц.*).

периферийное зрение вело меня в другие места: по закоулкам и извилистым лабиринтам улочек. И все вокруг было пропитано сексом – от ночных бабочек, вылавливающих клиентов на краю тротуара, до парочек, сцепившихся в объятиях у стен домов, фонарных столбов и даже каменной балюстрады моста Пон-Нёф. Я ощутил себя Сеной: темной холодной водой в нескончаемом дрейфе. Я завидовал влюбленным. Я завидовал всем, кто был связан с кем-то другим, кто не чувствовал себя одиноким в темноте.

Я научился дрейфовать.

Моя первая неделя в Париже стала продолжительной бесцельной прогулкой. Рассвет для меня отныне наступал около десяти утра. По соседству с отелем находилось *café*. Каждое утро я съедал один и тот же завтрак: *citron pressé, un croissant, un grand crème*¹¹. Это заведение облюбовали местные работяги – мусорщики, дорожные рабочие, – что и делало его дешевым. Хозяин – с плохими зубами и усталым взглядом, но профи в своем деле – всегда стоял за прилавком. Когда я наведалься туда четвертый день подряд, он приветствовал меня кивком: «*La même chose?*»¹² – спросил он. Я ограничился традиционным *bonjour*¹³ и кивнул в ответ. Мы так и не обменялись именами.

Ежедневная «Интернэшнл геральд трибюн» была мне не по карману. Но хозяин *café* всегда держал на стойке бара вчерашний выпуск. Он-то и подсказал мне:

– Ваш соотечественник из отеля всегда покупает газету перед завтраком, а уходя, оставляет ее на столе.

Или, по крайней мере, мне подумалось, что он так сказал. Я понимал по-французски едва ли больше, чем мог говорить.

– *Il arrive quand?*¹⁴ – Я уже купил блокнот, дешевую авторучку, словарь, сборник базовых глаголов. И поставил себе задачу каждый день запоминать по десять новых слов и спрягать по два новых глагола в *présent, passé u futur proche*¹⁵.

– Каждое утро в семь. По-моему, он почти не спит. Человек с глазами, слишком избыточными жизнью.

Мне так понравилась эта фраза – *un homme aux yeux trop mâchés par la vie*, – что я записал ее в свой блокнот.

Café называлось *Le Select*¹⁶, и в самом названии заключалось противоречие. В *Le Select* не было ничего избранного. Обычная забегаловка с несколькими столиками и без каких-либо удобств. Я не был таким уж знатоком и ценителем кафе. Мой опыт ограничивался американскими кофейнями, американскими закусочными, американо из капельной кофеварки. Добавить к этому еще музыкальные автоматы, вульгарный линолеум и официанток с кривыми улыбками и жвачкой во рту. Здесь, в *Le Select*, выпивка была общепринятой частью утреннего ритуала. Большинство мусорщиков – *les éboueurs* – глушило *calva*¹⁷ с кофе. А пара жандармов частенько заходила пропустить бокальчик-другой *vin rouge*¹⁸ – его наливали из литровых бутылок без этикеток. Они никогда не платили за вино. *Le Select* научил меня искусству осмыс-

¹¹ Лимонад, круассан, большой кофе с молоком (франц.).

¹² Как обычно? (франц.)

¹³ Добрый день (франц.).

¹⁴ Он приходит когда? (франц., искаж.)

¹⁵ Времена французских глаголов: настоящее, прошедшее и ближайшее будущее (франц.).

¹⁶ Избранный (франц.).

¹⁷ Кальвадос (франц.).

¹⁸ Красное вино (франц.).

ленного безделья. Я просиживал там до полудня с завтраком, вчерашней газетой, сигаретами, блокнотом и авторучкой. Меня никогда не торопили, никогда не беспокоили. Так я пришел к пониманию ключевой идеи парижских кафе: они дарили ощущение импровизированной общности и теплого убежища среди холодной бесстрастности городских улиц.

К середине дня я перебирался бездельничать в другие места, чаще всего в кинотеатры на рю дю Шампольон. Старые вестерны. Старые фильмы нуар. Малоизвестные мюзиклы. Фестивали режиссеров: Хичкок, Хоукс, Уэллс, Хьюстон. Все на языке оригинала – английском, с французскими субтитрами, пляшущими у нижнего края экрана. Место, где можно спрятаться за десять франков за сеанс.

Séance – просмотр кинофильма. Но также и собрание людей. Ритуальная форма встречи. Еще одно слово для моей записной книжки.

Я принял решение исследовать пешком все двадцать округов, *arrondissements*. Я обходил музеи и галереи. Я стал завсегдатаем англоязычных книжных магазинов. Я посещал джаз-бары на рю де Ломбар. Я впервые попробовал тажин¹⁹. Я испытывал отчаянное желание занять себя хоть чем-то; найти противоядие от одиночества моих дней и ночей. Я решил, что любое движение скрасит мое уединенное существование. Но праздничатание расширяло пустоту внутри. Не скажу, что я был несчастлив в Париже. Я был несчастлив в себе. И никак не мог понять почему. Я не скучал по дому. Не тосковал по американским привычкам. Я наслаждался новизной всего, что лежало передо мной. Но грусть, как упрямое пятно, никак не желала смываться.

В соседнем гостиничном номере вечно ссорилась пара. Ночной портье – Омар, бербер с юга Марокко, – сказал мне, что они сербы. Беженцы. И не перестают злиться друг на друга.

– Их мир рухнет, если они проявят доброту и взаимоуважение. Вот они и поддерживают свой гнев.

Стук пишущей машинки был еще одной константой ночной жизни гостиницы. Я не возражал против него. Он действовал на меня как метроном: этот тук-тук-тук убаюкивал меня, погружая в преисподнюю сна. Однажды вечером, на второй неделе моего пребывания в Париже, поздно вернувшись с *сеанса* в джаз-клубе «Сансайд», я увидел, что дверь соседской комнаты приоткрыта. Свет внутри был затянут дымом.

– Можешь войти, – из дымной пелены вырвался голос. Голос американца.

Я толкнул дверь. И очутился в комнате, точно такой же, как моя, только обжитой постояльцем. В гнущем деревянном кресле сидел парень лет под тридцать. Светлые волосы до плеч, круглые очки в металлической оправе, сигарета в зубах, туманная улыбка.

– Ты мой сосед? – спросил он. – Мне лучше говорить на плохом французском?

– Английский сойдет.

– Не спишь из-за моей машинки?

– Я не сплю в пальто.

– Значит, ты увидел, что моя дверь открыта... и просто решил поздороваться?

– Я могу уйти.

– Можешь и присесть.

Так я познакомился с Полом Моустом.

– Да, я пишу. И нет, пока еще не опубликовал ни слова. И не собираюсь рассказывать тебе, о чем этот роман, что говорит о большой сдержанности с моей стороны. Да, я из Нью-Йорка. Да, моего трастового фонда достаточно, чтобы не разориться.

Я узнал, что он бежал от своего авторитарного отца. Инвестиционного банкира. Типичного представителя привилегированной Лиги плюща. Со связями. С домом на Парк-авеню. С высоким положением в епископальной церкви.

¹⁹ Тажин – блюдо из мяса и овощей, популярное в странах Магриба.

– Вся траектория подготовительной школы, Лиги плюща. Я поступил в Гарвард. Меня выгнали из Гарварда. Отсутствие интереса к работе. Два года в торговом флоте. Ха, когда-то это сработало для Юджина О’Нила. Я вернулся в Гарвард. Папочкины связи. Пробился. Целый год обучал трудных подростков в Буркина-Фасо. Прошел через гонорею, сифилис, трихомониаз. Пятнадцать месяцев назад обменял Угадугу на Париж. Нашел этот отель. Заключил сделку. Теперь вот сижу, печатаю дни и ночи напролет.

– Твой отец не пытался силой вернуть тебя домой, на Уолл-стрит?

– Папочка поставил на мне крест. Еще в Буркина-Фасо, в момент невменяемости, вызванной лихорадкой денге, я написал в журнал выпускников Гарварда, в рубрику «Расскажи о себе». И что же я им сообщил? *Пол Моуст, выпуск 1974 года, живет в Центральной Африке с хронической гонореей*. Ну, я подумал, что это остроумно.

– Это попало в печать?

– Вряд ли. Но у стен, увитых плющом, имеются уши. Папа написал мне в Париж, что отныне обо мне позаботится «Американ Экспресс», что теперь я сам по себе, без его щедрости и опеки, в большом плохом мире. Конечно, он знал, что не сможет помешать мне пользоваться трастом, учрежденным его отцом для пятерых внуков. Мою долю процентов по основному вкладу стали выплачивать мне в день моего двадцатипятилетия... то есть семь месяцев назад. Как раз в то время, когда меня вышвырнул отец. Теперь у меня приличное ежемесячное пособие в восемьсот долларов. Учítывая, что я договорился с управляющим этим убогим заведением о цене двадцать пять франков за ночь – поскольку теперь постоянно проживаю здесь, – у меня появился свой маленький закуток в Париже меньше чем за семьдесят долларов в месяц. И мне даже меняют постельное белье два раза в неделю.

Затем он спросил меня, где я вырос. Я рассказал. И вот что услышал в ответ:

– Какое унылое местечко, чтобы называть его домом.

Я кивнул на бутылку *eau de vie*²⁰. *Vielle Prune*. Он налил мне стакан и угостил сигаретой «Кэмел». Спросил, в каком колледже я учился. Пришлось удовлетворить его любопытство.

– О боже, так ты Мистер Университет штата? А теперь что? У тебя бюджетный гранд-тур по Европе, откуда вернешься, чтобы присоединиться к отцовской практике аграрного страхования?

– В сентябре я начинаю учебу в юридической школе Гарварда.

Это привлекло его внимание.

– Серьезно?

– Вполне.

– *Chapeaux!*²¹ Коллега по Гарварду.

И тот, кто попал туда не стараниями папочки.

Но этот подтекст остался невысказанным.

Он сменил тему, больше не задавая вопросов о моей жизни.

Но позже, после двух сигарет и трех стаканов *eau de vie*, он поделился наблюдением:

– Я знаю, почему ты оказался сегодня вечером у моей двери. Агония Парижа. Город жесток ко всем, кто сам по себе. Ты видишь кругом парочки – и это высвечивает твой статус потерянного маленького мальчика. И тот факт, что ты возвращаешься в пустую постель в дешевом отеле.

– Значит, нас двое.

– О, у меня кое-кто есть. Только не сегодня. А вот ты один в полете. И не можешь найти пару.

²⁰ Фруктовое бренди (франц.). Здесь – «Старая слива» (*Vielle Prune*).

²¹ Снимаю шляпу! (франц.)

Мне хотелось возразить. Хотелось опровергнуть. Хотелось прихлопнуть его жестокость. Но я знал, что это поставит меня в положение обороняющегося. Чего он и добивался. Я видел, как он расставляет ловушку. Вот почему я предпочел такой ответ:

- Виновен по всем пунктам.
- Вау, вау, какой честный парень.
- Может, подскажешь, что сделать, чтобы не чувствовать себя здесь таким одиноким?
- Полагаю, ты почти не говоришь по-французски?
- Мой французский очень примитивный. Далек от разговорного.
- Я мог бы пригласить тебя на вечеринку завтра. Что-то вроде презентации книги.

Подруги Сабины.

- Кто такая Сабина?
- Женщина, которая должна быть здесь сегодня. Не проси меня объяснять.
- С чего бы мне просить об этом?
- Зубастый фермерский мальчик.

– Я вырос не на ферме.

В ответ он ухмыльнулся.

– Если я приглашу тебя, то должен сразу предупредить, что за руку водить не буду. И знакомить ни с кем не собираюсь.

– Тогда зачем приглашать меня?

– Ты же сказал, что тебе одиноко. Назови это актом милосердия.

Он потянулся к блокноту и нацарапал адрес.

– Завтра в семь вечера.

Он окинул взглядом мои расклешенные серые джинсы, коричневый свитер с круглым вырезом, голубую рубашку на пуговицах.

– Это Париж. Тебе лучше переодеться в черное.

Я вернулся в армейский магазин. Меня обслуживал тот же человек с лицом боксера. Я объяснил, что мне нужно, упомянув о том, что мой бюджет ограничен. Он оглядел меня, прикидывая мой размер.

– Доходяга, – изрек он и ушел рыться на полках. Он откопал черную шерстяную водолазку за тридцать пять франков и черные шерстяные брюки за сорок пять. Ему пришлось стряхнуть с них пыль, прежде чем я их примерил. Обе вещи идеально сели на меня. – У меня есть черные зимние сапоги от *La Legion Etrangere*. Мягкая кожа. Уже разношенные. Теплые, но нетяжелые и с добротной подошвой. То что надо для Парижа. Шестьдесят франков.

Я примерил. Сапоги пришлись впору.

– Бери все за сто десять франков, – предложил продавец. – И теперь ты – *une symphonie en noir*²².

– У тебя такой вид, будто ты только что сошел с корабля «Ист-Виллидж».

Так Пол Моуст приветствовал меня у дверей книжного магазина.

– Ты же велел мне сменить стиль.

– И тебе это удалось, морячок.

²² Симфония в черном (франц.).

Книжный магазин назывался *La Hune*²³. Моуст стоял у входа, покуривая «Кэмел». С ним была женщина. Худая, как рельс, копна кудряшек, байкерская куртка, черный шелковый шарф.

– Познакомься с Сабиной, – сказал он.

Я протянул руку. Сабину явно позабыл этот жест. Она наклонилась и поцеловала меня в обе щеки.

– Мой приятель, новичок здесь, понятия не имеет о местном протоколе, – объяснил Моуст.

Ответ Сабинины прозвучал как словесная пощечина:

– *Tu sais que je refuse de parler en anglais*²⁴.

Моуст разразился потоком быстрой французской речи с вкраплениями агрессивных ноток. Сабина надулась и рявкнула в ответ:

– *T'es un con.*

Она только что назвала его кретином. Поделом.

– Видишь, что ты натворил? – расплываясь в улыбке, сказал мне Моуст. И указал на дверь. – Увидимся в баре.

Книжный магазин занимал небольшое помещение. Повсюду заполненные книжные стеллажи. Книги громоздились высокими стопками на всех поверхностях. Меня окружала плотная толпа. Я отыскал бар и потянулся за красным вином. Потом попятился к книжной полке, над которой висела табличка: «*Philo*»²⁵. Я опустил глаза, и мой взгляд заскользил по корешкам томов: де Бовуар, де Местр, де Морган, Делёз, Демокрит, Деррида, Декарт, Дидро, Дворкин...

– *Êtes-vous obsédé par les philosophes dont le nom begin par un 'D'?*²⁶

Голос тихий, вибрирующий, дразнящий. Я резко обернулся. И оказался лицом к лицу с женщиной. Облако рыжих кудрей. Темно-зеленые глаза, ясные, пронизательные, умные. Лицо мягкое, веснушчатое, открытое. Платье черное, облегающее. Черные чулки. Черные сапоги. Сигарета в длинных пальцах, кутикулы слегка подгрызены, на левом безымянном пальце – золотая полоска кольца. Моя первая мысль: ранимая. Моя вторая мысль: красивая. Моя третья мысль: я сражен. Четвертая мысль: проклятое обручальное кольцо.

– Американец? – спросила она.

– Боюсь, что да.

– Не нужно стесняться этого.

Ее английский был безупречен.

– Меня смущает позорное знание французского. Откуда у вас такой хороший английский?

– Практика. Я прожила в Нью-Йорке два года. Следовало бы остаться. Но я этого не сделала.

– А теперь?

– Теперь я живу здесь.

– И чем занимаетесь?

Еще одна озорная улыбка.

– А тебе нравится допрашивать. Случайно, не адвокат по уголовным делам?

– Двигаюсь в ту сторону. Но дайте-ка угадаю? Вы – преподаватель.

– Почему тебе так хочется узнать, чем я занимаюсь?

– Это моя естественная потребность – задавать вопросы.

– Любопытство похвально. Я – переводчик.

²³ *La Hune* – легендарный парижский книжный магазин, расположенный на левом берегу Сены, в квартале Сен-Жермен-де-Пре. На протяжении многих лет магазин был излюбленным местом встреч разношерстной парижской богемы.

²⁴ Ты знаешь, что я отказываюсь говорить по-английски (*франц.*).

²⁵ Философия (*франц.*).

²⁶ Вы одержимы философами, чьи имена начинаются на букву «Д»? (*франц.*)

- С английского на французский?
- А еще с немецкого на французский. И обратно.
- Так вы свободно владеете тремя языками?
- Четырьмя. Мой итальянский вполне приличный.
- Теперь я действительно чувствую себя деревенщиной.
- Не знаю такого слова: «деревенщина».
- Тот, кто от сохи. Неотесанный мужлан.
- И дай-ка угадаю. Изобретатель этого арго родом из Нью-Йорка.
- Без сомнения.

Она сунула руку в черную кожаную сумочку, висевшую у нее на плече, и достала маленькую черную записную книжку и серебряную авторучку.

- Как пишется «деревенщина»?

Я подсказал.

- Обожаю арго. Это истинный местный колорит всех языков.
- Приведите мне пример парижского арго.
- *Grave de chez grave*.
- Дурак на всю голову, верно?
- Я впечатлена. Круто для того, кто говорит, что не знает французского.

Я рассказал про свою ежедневную лексическую рутину.

- Какое усердие. Тогда ты определенно не *grave de chez grave* – в смысле, не болван.
- Иногда я чувствую себя болваном.
- Вообще... или только здесь, в Париже?

- Здесь. Сейчас. В этом книжном магазине. Среди всех этих рафинированных умников.

– И ты говоришь себе: «Я просто „деревенщина“...» Правильно я произнесла?.. Неотесанный мужлан?

- Вы быстро схватываете арго.
- Когда ты переводчик, слова для тебя – это все.
- Стало быть, вы тоже любопытны.
- Еще как.

Она слегка коснулась моей руки, позволив своим пальцам задержаться там на мгновение. Я улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ.

- Изабель.

– Сэм. Забавно, что ты задала мне тот вопрос о философах. Я рассматривал эти имена на корешках книг – все на «Д» – и думал о том, как мало я знаю.

– Но признать, что у тебя есть пробелы в знаниях, что ты хочешь рискнуть, заглянув в интеллектуальные места, которых до сих пор избегал, – это же замечательно. Для меня любопытство – это все. Так что перестань называть себя деревенщиной. Ты же нашел дорогу сюда. Попал на мероприятие, столь абсурдно парижское. Тебе известно, что за книгу сегодня представляют? Кто автор?

- Я незванный гость.

– За это я восхищаюсь тобой еще больше. Взгляни вон на ту довольно миниатюрную женщину с дикими кудряшками. Это Жанна Рошферан. *Philosophe. Normalienne*²⁷. Она станет *Academicienne*²⁸ еще до конца десятилетия.

Женщина и впрямь была крошечной. С виду за шестьдесят. Тошная донельзя. Кожаные брюки с леопардовым принтом. Топ из леопардовой кожи. Грива черных волос. Рядом с ней

²⁷ Философ (*франц.*). Преподаватель Эколь Нормаль (Высшей педагогической школы), одного из лучших государственных учреждений в сфере высшего образования во Франции.

²⁸ Академик (*франц.*).

маячил парень лет двадцати восьми. Типичный французский байкер. Зеленые очки-авиаторы. На лице выражение скуки от заумных разговоров. Его рука покоилась на пятой точке спутницы.

– Не понимаю ни одного из этих терминов, – признался я.

– А зачем тебе их понимать? Они очень много значат в нашем, здешнем мире. Поживешь в Париже достаточно долго, выучишь язык – и все обретет смысл.

– Я здесь всего на несколько месяцев. А потом двинусь дальше.

– Тогда ты не узнаешь многого – что, возможно, и не является твоим намерением.

– Я понятия не имею, какова моя цель.

– «Цель». Такое американское слово, понятие.

– Разве это проблема?

Еще одно легкое прикосновение ее пальцев к моей руке.

– Это мило. Здесь никто и никогда не станет говорить о целях, задачах. Мы все больше теоретики. Предпочитаем мозговое словоблудие. Но все в жизни сводится к тому, чтобы позволить себе то, чего мы хотим. Или создать для себя ограничения, нормы.

– А ты свободный человек?

– И да и нет. И да, я позволяю себе некоторые вещи и не позволяю себе заходить туда, где можно было бы найти больше свободы. Обычные риски и компромиссы, присущие определенному виду столичной жизни.

– Я не столичный житель.

– Ты здесь. Это начало. – Она бросила взгляд на часы. – Время, время. У меня ужин...

Без всякой мысли или преднамеренности я взял ее за руку. Она закрыла глаза. Потом открыла. Ее пальцы расслабились. Она отступила назад.

– Приятно было познакомиться, Сэм.

– Мне тоже, Изабель.

Молчание. Она первой нарушила паузу:

– Так спроси у меня номер телефона.

– Могу я узнать твой номер телефона?

Она встретилась со мной взглядом.

– Ты можешь.

Ее пальцы быстро скользнули в сумочку и вынырнули с маленькой визитной карточкой.

– Вот. По этому номеру меня можно чаще всего застать по утрам и после полудня.

Она наклонилась и поцеловала меня в обе щеки. На меня нахлынуло что-то вроде желания. Она это почувствовала. Улыбнулась. И сказала:

– *A bientôt*²⁹.

И она исчезла.

Я так и стоял с визиткой в руке. Взгляд уперся в простой черный шрифт:

ИЗАБЕЛЬ де МОНСАМБЕР

Переводчик

9, рю Бернар Палисси

75006 Париж

01-489-62-33

Я вытащил бумажник. Вставил карточку в прорезь кармашка. Мне хотелось верить, что я позвоню на следующий день или в ближайшее время.

– Значит, заполучил номер телефона Изабель.

Говорил Пол Моуст. Он стоял рядом со мной с бутылкой вина в руке.

– Откуда ты знаешь ее имя?

²⁹ До скорой встречи (*франц.*).

– Познакомился с ней на другой книжной вечеринке на прошлой неделе. Мы разговорились. Я попросил у нее телефончик. Мне она не дала. Похоже, ты избранный, парень. Если, конечно, хочешь быть избранным. Тебе выпала карта. Теперь вопрос в том, сможешь ли ты ее разыграть?

Моуст исчез вместе с Сабиной Капризной. Я кивнул писательнице – привет и прощай. Она улыбнулась. Бойфренд-байкер нахмурился. Я огляделся вокруг. Вечеринка распалась. Я вышел в черную парижскую ночь. Заглянул в меню *Café Flore* – нет, мне не по карману. И побрел обратно в пятый округ. Нашел дешевую брассери, где съел *croque monsieur*³⁰ и выпил два бокала *vin ordinaire*³¹. Разговор с Изабель не шел из головы. Я потрогал визитку, спрятанную в кармане. Мысли вертелись вокруг обручального кольца на левом безымянном пальце. Вспоминалось обнадеживающее: «*A bientôt*». Если я решусь позвонить.

Я вытащил листок аэрограммы³², взятый на местной почте, и авторучку. Настроил отцу простую записку, сообщив, что жив и процветаю, что Париж «интересен» (он предпочитал преуменьшения), что с нетерпением жду летней практики у судьи и начала учебы в Гарварде. Концовку я вставил, чтобы заверить отца в том, что непременно поступлю правильно и вернусь домой. Потому что я все еще чувствовал необходимость ответить тому голосу власти, что представлял собой отец. Будь папа совсем равнодушным человеком, возможно, мне было бы легче принять его отчужденность. Однако то, что он никогда не был так уж суров со мной, как не был и близок мне, лишь усиливало чувство вины; рождало ощущение, будто что-то во мне ответственно за его бесконечную сдержанность.

Я подписал письмо словами: «*С любовью, Сэм*». Допил последний бокал вина, закуривая «Голуаз», и побрел обратно в гостиницу. Там визитка Изабель перекочевала из моего кармана на угол кофейного столика, который я превратил в письменный. Я засунул карточку под блокнот и не притрагивался к ней целых два дня. В моей рутине как будто ничего не изменилось: каждый день я начинал завтраком, каждый день ходил в кино, каждый день дрейфовал по городу. Однажды я постучал в дверь Пола Моуста в поисках компании. Ответа не последовало. Я исписал еще несколько страниц в блокноте. Посмотрел два вестерна в кинотеатре на рю дю Шампольон, где оказался единственным зрителем. Я обнаружил китайский квартал в тринадцатом округе и отведал свиные ножки по-сычуаньски только потому, что хотел попробовать свиные ножки по-сычуаньски. Спал я урывками. И все твердил себе: возьми карточку, позвони. А в голове не смолкал ее дразнящий голос, в котором угадывался подтекст: «С чего бы мне интересоваться таким олухом, как ты?»

Поздно ночью, где-то около трех, я услышал, как за стенкой снова сцепилась парочка. Мужчина оскорблял свою подругу. Та плакала. Пыталась разжалобить его. Хотела помириться. И неважно, что сербохорватский был для меня марсианским языком. Жаргон ярости не нуждается в переводе. Произнесенное потоком обидных слов – или проявляющееся в долгом молчании за обеденным столом (излюбленная форма общения моих родителей), – чувство презрения безошибочно. *Презрение*: не этот ли подспудный мотив определяет начало конца в отношениях? Я встал с кровати. Налил себе бокал красного вина из литровой бутылки, которую купил вчера за 15 франков. Вино, хотя и дешевое, но пить можно. Я закурил сигарету, прислушива-

³⁰ Крок-месье (*франц.*) – блюдо французской кухни, представляющее собой горячий бутерброд с ветчиной и сыром; популярная закуска во французских кафе и барах.

³¹ Дешевое красное вино (*франц.*).

³² Аэрограмма – вид авиапочтового отправления по сниженному тарифу, тонкий легкий кусок складываемой и склеенной бумаги, одновременно письмо и конверт.

ясь к ссоре, достигшей крещендо, – теперь женщина набрасывалась на мужчину, обрушивая на него свой гнев. Настала его очередь рыдать и умолять. Я протянул руку и включил маленький транзисторный радиоприемник, путешествовавший со мной через Атлантику, и поймал джазовую радиостанцию на волнах FM. Меланхоличным меццо-сопрано женщина пела о своих поисках «того, кто бы оберегал» ее. Всеобщее стремление... даже мне, в самом начале жизненного пути, все с большей ясностью открывалась истина: каждый человек в глубине души сам по себе в этом хаосе жизни.

Я отпил еще вина. Певица продолжала синкопированные поиски неуловимой родственной души. За стенкой швырнули какой-то предмет. Что-то разбилось. Последовали крики. Распахнулись двери соседних номеров. Загудели недовольные голоса. Я прибавил громкость. Докурил сигарету. И тронул пальцами визитную карточку, торчащую из-под блокнота. Я твердо решил позвонить Изабель, как только день прогонит эту темную ночь.

В *Le Select* был таксофон. Чтобы позвонить, нужно было вставить в его гнездо *jetone* – жетон, купленный заранее. Я попросил у парня за прилавком разрешения воспользоваться красным бакелитовым телефоном, который он держал рядом с бутылками «Перно Рикар». Парень выставил его передо мной на цинковую стойку. Вращающийся диск щелкал, как колесо рулетки, пока я набирал номер.

– *Oui*³³, алло?

Она ответила после третьего гудка.

– *Bonjour*, Изабель?

– *Oui*?

Ее голос звучал неуверенно. Как в вопросе: «Кто это?».

– *C'est moi*³⁴... Сэм.

– Сэм?

– *L'americain*³⁵. Три дня назад... книжный магазин.

– О... *Samuel*. Приятный сюрприз.

Сэ-мио-эль. Она придала моему имени причудливую музыкальность.

– Я просто подумал...

Мне не удалось закончить фразу. *Merde*³⁶.

– Не хочешь ли встретиться и выпить?

Она закончила фразу за меня. Вдвойне *merde*.

– Да, я бы хотел.

– Хорошо.

В ее голосе слышалось веселье. Я как будто читал ее мысли: «*Мальчик. Испуганный маленький американский мальчик*».

– Если у тебя есть мой номер телефона, значит, есть и мой адрес.

Я взглянул на визитку. Для меня все это было головокружительно новой территорией.

– Да, я понял.

– У тебя под рукой есть чем записать?

Я полез в карман за блокнотом и ручкой.

– Готов.

³³ Да (*франц.*).

³⁴ Это я (*франц.*).

³⁵ Американец (*франц.*).

³⁶ Дерьмо (*франц.*, груб.).

Она продиктовала мне код дверного замка. Подказала, что улица находится сразу за рю де Ренн, и что мне следует ехать на метро до станции Сен-Жермен-де-Пре. Потом спросила:

– В пять?

– Когда?

– Сегодня. Если только ты не занят.

Занят чем?

– Я буду.

– *À très bientôt*³⁷.

В последний – единственный – раз, когда мы разговаривали, она закончила беседу словами: «*À bientôt*». Теперь «до скорой встречи» поднялось на ступеньку выше благодаря *très*³⁸. Мой французский все еще оставался примитивным. Но я начинал различать его хитросплетения: знаки и смыслы, окрашенные соблазном *très*.

Хрустальный январский день. Морозец. Холодное голубое небо. Я пошел пешком. И забрел в дебри десятого округа. Канал. Грязные улицы. Обшарпанные здания. Я прибавил шагу, чтобы подавить чувство тревоги. Канал спускался прямо к Бастилии. Откуда взялся тот животный страх? Тогда, после полудня, на канале... когда я пытался уйти от беспокойства. Не в тот ли момент мною начало овладевать понимание, что мое детство было наполнено печальным чувством вины? Убежденностью, подкрепляемой отцом, что я заслуживаю того, чтобы со мной держали дистанцию. Что я недостоин любви. Родительская точка зрения теперь заставила меня задуматься: как могла столь утонченная и умная женщина вроде Изабель найти это наивное дитя Среднего Запада достойным интереса?

Я прошел до самого конца канала и нырнул в *métro*. Уже через несколько минут я оказался в квартале Сен-Жермен-де-Пре. Наплывали сумерки. Огни уличных фонарей, автомобильных фар и неоновых вывесок кружили в электрическом танце. Я пересек рю де Ренн. Бернар Палисси оказалась короткой узкой улочкой. Вот и дом номер 9: низкое широкое здание. Я набрал код замка. Дверь открылась с решительным щелчком. Я ступил во двор. Булыжная мостовая, узкие окна. Изабель велела мне пройти в дальний конец и найти ее имя в списке жильцов на панели домофона. Я позвонил один раз. Замок щелкнул так же громко. Я распахнул дверь и оказался перед узкой лестницей. Сверху донесся голос – ее голос:

– Это альпийское восхождение.

Перилами служила промасленная веревка. Лестница уходила вверх спиралью. Предстоял серьезный подъем. На крошечную лестничную площадку каждого этажа выходило по две двери, выкрашенные в темно-бордовый цвет. Я добрался до пятого этажа. Вершина. Изабель стояла в дверном проеме. Черная водолазка и длинная узкая черная шерстяная юбка плотно облегли ее стройную фигуру. Дымилась зажатая между пальцами сигарета. От меня не ускользнул оценивающий взгляд Изабель. Она улыбнулась и подалась вперед, целуя меня в обе щеки.

– Ты заслуживаешь выпивки после такого подвига.

Я последовал за ней внутрь. Квартирка оказалась крохотной. Шагов двадцать в длину и десяток в ширину. Низкий потолок едва не задевал голову.

– Я боялась, тебе здесь будет тесновато.

– Недостатки высокого роста.

– Мне нравится твой рост. Большинство французских мужчин мелкие, во всех смыслах.

Она взяла у меня пальто, и ее пальцы коснулись рукава моего свитера. Мне хотелось заключить ее в объятия. Но вместо этого я закурил сигарету. Изабель сняла с полки, встроенной в нишу кухни, два больших пузатых бокала. Она выставила их на стол и потянулась за

³⁷ До очень скорой встречи (*франц.*).

³⁸ Очень (*франц.*).

бутылкой вина и штопором. С непринужденной легкостью вытащила пробку и налила в каждый бокал вина на три пальца. Кружение темно-красных танинов. Меня так и подмывало схватить свой бокал и опустошить его залпом. Голландское мужество, храбрость во хмелю.

– Нужно подождать пять минут. Вино должно подышать.

Я глубоко затянулся сигаретой, чтобы успокоиться. Изабель потянулась ко мне свободной рукой, переплетая наши пальцы. Я присел на диван, и в голове пронеслось: не притягивай ее к себе.

Она опустила рядом со мной и крепче сжала мои пальцы.

– Поцелуй меня.

В следующее мгновение мы уже стали одним целым. Наши рты сливались в глубоком поцелуе. Ее руки обхватывали мою голову. Ее язык скользил по моему нёбу. Ее ноги раздвинулись, затем обвили меня, раскачивая меня взад-вперед, взад-вперед. Нарастающая страсть: мгновенная, сумасшедшая. Срывание одежд. Ее нижнее белье: черное, простое. Она схватила меня за пояс. Стянула с меня джинсы. Взяла мою руку. Ее кожа: веснушчатая, как и лицо, полупрозрачная. Треугольник волос. И мой палец, его ласкающий. Она издала приглушенный стон. Направила меня в свое лоно. Я устремился туда, проникая так глубоко, как только мог. Она уже не сдерживала стоны. Теперь она впивалась ногтями мне в спину. Мы были одержимы. Вне себя. Никогда еще я не ведал такого безумия, такой свободы. Я старался сдерживаться как можно дольше. Выплеснул себя дикой вспышкой, словно пронзенный электрическим разрядом. Стараясь приглушить судорожный вздох, я тяжело рухнул на нее. Она все еще дрожала. Я чувствовал, как колотится ее сердце. Ощущал влажность кожи. Сплетение наших тел. Она взяла меня за руку. Сжала. Солидарность общей страсти. Потом обхватила мою голову обеими руками. Стиснула. Долго и пристально смотрела мне в глаза. Я видел вопросы. Она поцеловала меня. Провела указательным пальцем от моего лба к губам. И сказала:

– Ты можешь прийти еще раз.

Я улыбнулся, пытаюсь скрыть тревогу. Тревогу от того, что так ошарашен страстью. Она закурила нам сигареты. Чокнулась со мной своим бокалом.

– *À nous*, – сказала она.

За нас.

В тот вечер я постучал в дверь Пола Моуста.

– Я работаю, – крикнул он, перекрывая ленивое клацанье пишущей машинки.

– Выпивка за мой счет, если тебе нужен предлог, чтобы прерваться.

– Предлог принят, – откликнулся он.

Через пять минут мы уже сидели за кальвадосом и сигаретами в углу *Le Select*.

– Так когда же ты влюбился? – спросил он.

Вопрос сбил меня с толку. Потому что не только застал врасплох, но и заставил задуматься: неужели я настолько прозрачен?

– Не понимаю, о чем ты, – промямлил я.

– Чушь собачья. Ты только что стал жителем округа под названием Влюбленный. Дай угадаю, это прекрасная, неуловимая Изабель?..

Я ничего не ответил, уткнувшись взглядом в бокал с темно-медным яблочным бренди. Моуст потянулся к моей пачке сигарет.

– Твое молчание говорит само за себя: виновен по всем статьям.

Теперь настала моя очередь закурить.

– Ты когда-нибудь влюблялся по уши? – наконец спросил я.

– Конечно. Примерно тридцать три раза. И всегда с высокой долей иронии, сопровождающей погружение в этот омут. Но это не твой случай, сынок. «Как ты собираешься держать их на ферме после того, как они увидят Пари?»³⁹

Я поджал губы. Яростно затянулся сигаретой и залпом осушил остатки кальвадоса.

– Давай, назови меня говнюком, – ухмыльнулся Моуст.

Я промолчал.

– В этом весь ты – вежливый фермерский мальчик.

– Я вырос не на гребаной ферме, – прошипел я.

Моуст улыбнулся.

– Шах и мат. Дай угадаю: ты никогда раньше не испытывал ничего подобного, никогда не знал такой страсти...

Я вскинул руку, как коп-регулирующий.

Моуст снова расплылся в улыбке.

– Тут, видишь ли, какое дело. За то время, что я живу здесь, со мной раз или два случались такие истории. И эти отношения прекрасно работают, пока ты понимаешь: замужняя француженка играет по своим правилам... и твое сердце не будет разбито, если ты смиришься с тем, что оно не получит того, чего так хочет.

На что я возразил бы, но только мысленно, поскольку не мог выразить словами: «Разве могли мы с Изабель так истово заниматься любовью и не любить друг друга?»

На следующее утро я позвонил в десять. Моя ошибка. Слишком рано. Слишком нетерпеливо. Когда диск телефона в *Le Select* завертелся колесом рулетки, я сказал себе: «Еще не время. Не сейчас. Подожди». Пусть даже она и сказала «позвони завтра», когда я уходил от нее прошлым вечером. С тех пор я прокручивал в памяти каждое его мгновение. Ошеломленный тем, что произошло между нами. И мучаясь страхом возможной потери.

Не это ли называют двойственностью? Когда первое знакомство с настоящей страстью запускает сумасшедший танец: горячность сопровождается ощущением, что все может ускользнуть? И ты изо всех сил пытаешься это удержать. Хотя еще и понятия не имеешь о том, что происходит и чем это может обернуться.

– *Bonjour*, Сэмюэль. Ты звонишь довольно рано. – Ее тон: официальный, насмешливый, укоряющий. – Как себя чувствуешь после вчерашнего?

– Скупаю по тебе.

Черт. Слишком откровенно.

– Приятно слышать. Это были чудесные мгновения.

– Когда мы сможем повторить чудесные мгновения?

– *Mon jeune homme*⁴⁰...

– Я могу зайти попозже.

– Мне бы очень этого хотелось. Но через несколько часов я должна уехать на выходные.

В понедельник, 17:00?

– Э-э... конечно.

– Похоже, ты сомневаешься.

– Не сомневаюсь. Просто чувствую себя болваном.

– Ты вовсе не болван, Сэмюэль. Я с большим удовольствием жду нашего следующего randevu.

³⁹ Популярная песня времен Первой мировой войны.

⁴⁰ Здесь: мой милый юноша (*франц.*).

Меня охватило отчаяние. Почему мне казалось, что это односторонняя влюбленность? Но стоило голосам сомнения зазвучать в голове, как я тотчас заставил их замолчать. И вместо этого сказал:

– Тогда до понедельника.

– *Merveilleux. Bon weekend, Samuel*⁴¹.

Конец разговора.

Через несколько часов я должна уехать на выходные.

Понедельник теперь казался далеким, как будто до него целая вечность. Мой безрассудный сценарий желаний: перезвонить ей, настоять на часе страсти сегодня. Или появиться на рю Бернар Палисси и...

Разрушить все незрелостью импульсивности.

Я оттолкнул телефон. Заказал еще кофе. И вернулся к своей газете и своему блокноту. Я открыл *Pariscope*⁴² и запрограммировал для себя фильмы, джазовые концерты и бесплатные органые концерты в церквях, чтобы убить время до понедельника. Словом, создавал иллюзию занятости.

Выходные тянулись мучительно. Я старался заполнить их делами и заботами. Лишь бы вырваться из плена завышенных ожиданий. Я пытался подавить страх: а вдруг она в последнюю минуту отменит свидание (хотя до сих пор ничто не намекало на это).

Утро понедельника началось с хлопка одной из соседних дверей. Я поплелся в ванную и увидел в коридоре Пола Моуста с двумя чемоданами у ног.

– Ну, здравствуй, незнакомец, – сказал он.

– На прошлой неделе я стучался дважды. Ты не ответил.

– Был занят другим. А теперь занят отъездом.

– Есть какая-то причина?

– Мой отец ушел из этой жизни две ночи назад.

– Мне очень жаль.

– Банальность оценена.

– Я от души.

– Знаю. Настроение скверное. Папа не был ангелом. Но я должен поступить правильно. Похороны назначены на среду. Мама сообщила, что я не вычеркнут из завещания. Так она пытается сказать мне: прояви уважение, будь рядом со мной, и я не стану тебе мешать и не пойду против тебя.

– Так вот оно что. Окончательный исход. Не вернешься?

– Я отсидел здесь свой срок. И подошел к тому этапу, когда положено покончить со статусом временного поселенца, обзавестись постоянным жильем, *carte de sejour*⁴³, найти работу и объявить: Париж – мой дом. Получить документы, необходимые для женитьбы. Кандидатуры имеются. Но остерегайся богемных француженок с их фразами о свободной любви без тормозов. У них у всех есть эта буржуазная изнанка. Рано или поздно они заводят разговор об обязательствах, собственности, детях. Все это в них заложено еще в возрасте становления личности. Под маской сексуальной свободы часто скрывается будущая бытовая западня.

– А ты уверен, что сможешь избежать всего этого дома?

– Конечно нет. Через пять лет я женюсь и запру себя в рамках какой-нибудь академической деятельности. Если только до этого не решусь заключить Фаустову сделку и последовать

⁴¹ Прекрасно. Хороших выходных, Сэмюэль (*франц.*).

⁴² *Pariscope* – еженедельный журнал развлечений, издавался в Париже с 1965 по 2016 годы.

⁴³ Вид на жительство (*франц.*).

по стопам отца в рекламу. Он ведь был руководителем *J. Walter Thompson*⁴⁴. Ловкий, умный, успешный, вечно отсутствующий. Никогда не ценил меня.

Я потянулся и положил руку ему на плечо. Он стяхнул ее.

– Это и есть твое представление об утешении? – буркнул он.

– Скорее солидарность.

– Что мне это даст?

– Сиюминутную веру в то, что кто-то тебя понимает.

Он опустил голову. Подхватил свой багаж.

– Бостон зовет.

– С нетерпением жду возможности прочитать твою книгу.

– Она никогда не увидит свет.

– Как ты можешь так говорить?

– Потому что я узнаю мусор, когда читаю его.

Он потащил свою поклажу, отклонив мое предложение о помощи. Загрохотал чемоданами по ступенькам. Я заглянул в его комнату. Там остались все его книги. Стопки неиспользованных блокнотов. Бутылки вина и прочего спиртного. Я окликнул его.

– А как же твои вещи?

– Все в прошлом. Распоряжайся.

– Это любезно с твоей стороны.

– Я какой угодно, только не любезный. И знаю, что со временем парижская идиллия и тебе покажется последней иллюзией свободы, прежде чем ты поступишь, как большинство из нас, янки: пустишься в ожидаемый конформистский танец.

Наши последние слова. Хлопнула входная дверь. Моуст исчез.

Я вошел в его комнату. Более сотни книг. Желтые блокноты. Коллекция авторучек. Около полудюжины нетронутых тетрадей в черных обложках. Миллиметровая бумага. Карандаши. Четыре закупоренные бутылки красного. Две бутылки кальвадоса. *Vielle Prune*. Остатки жизни, проведенной в пути. Я почувствовал странный холодок на загривке. Осознание того, что все накопленное нами – наши приобретения, наши связи и отношения – неизбежно останется позади. Никто из нас не избежит этой участи. Вот почему следует избегать робости, когда речь идет о настоящем времени. Все, что у нас есть, в сущности, это здесь и сейчас.

И все, что было у меня, и чего я хотел в тот самый момент – это Изабель.

Мы упали в постель, как только я переступил порог ее квартиры. Сплелись телами. Обнаженные в мгновение ока. Раздавленные друг другом. Четырехдневная передышка породила бескрайнее желание. Меня тянуло в нее. Широко раздвинутые ноги приглашали проникнуть внутрь. Смыкаясь, проталкивали меня еще глубже. Ее нарастающие стоны. Мои руки, обнимающие ее. Мои зубы, покусывающие кожу ее головы. Аромат ее духов – что-то лавандовое, едва уловимое – обволакивал. Мои пальцы на ее сосках. В ушах – ее учащенное дыхание. Безумный ритм раскачиваний взад-вперед, взад-вперед. Ее усиливающиеся крики. Ее ладонь накрыла рот в момент оргазма. Спустя мгновение рвануло и во мне. Внезапный взрыв ударил в голову, а затем пробежал по телу волной глубочайшего освобождения. Я рухнул на подушку совершенно без сил. Она повернулась ко мне, лаская пальцами мое лицо и осыпая его мягкими поцелуями.

– *Mon amour*⁴⁵.

⁴⁴ *J. Walter Thompson* – рекламная холдинговая компания, зарегистрированная в 1896 году американским пионером рекламы, Джеймсом Уолтером Томпсоном.

⁴⁵ Моя любовь (франц.).

Это прозвучало шепотом. Я прошептал в ответ:

– *Mon amour.*

Долгий глубокий поцелуй. Потом она встала с постели, и на ее высокую фигуру легла тень от зажженной на столе свечи. Рыжие волосы, разметанные по лицу. Сияние глаз.

Визуальная миниатюра, которая и поныне остается со мной: обнаженная красота Изабель, мгновения после того, как мы привели друг друга в иступленный восторг. Покачивание ее узких бедер, пока она занималась практическими мелочами для нашего настроения. Открывала бутылку вина. Искала бокалы. Доставала откуда-то пачку сигарет «Кэмел», стальную зажигалку «Зиппо», щербатую пепельницу из кафе.

Я так мало понимал в жизни тогда. Но все же был в состоянии постичь чудо всех этих простых вещей, сливающихся воедино и рождающих нечто похожее на благодарность. Благодарность за этот идеальный момент с ослепительной женщиной, о которой я до сих пор практически ничего не знал. Но с кем оказался в постели под крышей дома XVIII века в Париже века XX.

– Как прошли выходные?

Как только слова слетели с моих губ, я пожалел о банальности вопроса; все это смахивало на прошупывание личной жизни. Я почувствовал, как напряглись ее плечи. Как пробежала мгновенная дрожь неодобрения.

– Просто замечательно. Спокойно.

– Ты уезжала из города?

– Да, в наше местечко в Нормандии. Недалеко от Довиля. Там пляж. *Ла-Манш*: канал. Английская погода во Франции. Прекрасное уныние.

Наше местечко. Впервые она ввернула местоимение множественного числа, чтобы описать свою жизнь за пределами этого двадцатиметрового пространства на пятом этаже.

– Вы выбрали его из-за уныния?

– Из-за пляжа. И к тому же это всего в двух часах езды от Парижа. Что до меня, то я люблю синеву Юга. Блеск света. Это дуновение *Afrique du Nord*⁴⁶, когда выходишь из поезда на вокзале Сен-Шарль в Марселе.

– Почему бы вам не поселиться там?

– Париж – Марсель: девять часов на поезде. Это как другой мир. Непрактично для уик-энда за городом. И еще у семьи всегда был дом в Нормандии.

– Твоей семьи?

– Еще чего. У семьи со средствами. Он родом из старинной семьи с глубокими связями в военных кругах, в высших эшелонах власти Республики и, конечно, со старым финансовым истеблишментом, чье влияние уходит корнями в далекое прошлое.

– А ты? Не из семьи с деньгами?

– Мои родители оба были учителями в лицеях. Книгочеи, охочие до знаний, самодостаточные, втайне недовольные своей судьбой. Мой отец хотел писать романы. А мама видела себя великим ученым. Вместо этого они преподавали в школе. Из-за этого, из-за ограниченности *la vie quotidienne*⁴⁷, они разочаровались в своем союзе. Потому оба и завязали отношения с другими людьми. Что привело к обычному хаосу. Они развелись. И снова женились на копиях друг друга. Человеческая потребность повторения.

– У тебя есть братья, сестры?

– Нет, я единственный ребенок.

– Как и я.

⁴⁶ Северная Африка (*франц.*).

⁴⁷ Повседневная жизнь (*франц.*).

– Довольно странно ощущать себя единственным плодом долгих лет в одной постели. Расскажи мне, почему это так грустно для тебя – быть единственным ребенком в семье?

– Я никогда не упоминал...

– В этом нет необходимости. Все и так заметно по тому, как ты себя держишь.

– Я настолько очевиден?

– Для товарища по несчастью, как я... да. Это то, что я уловила в тебе, среди прочего, в тот первый вечер, в книжном магазине: одинокий молодой человек... и не только потому, что один в Париже. Это более глубокое одиночество. То, что, наверное, живет в тебе с детства.

Я не знал, что сказать. Разве только:

– И ты поняла это из нашего первого разговора?

– Обиделся?

– Вряд ли.

– Но твой тон. Ты как будто потрясен.

– Потрясен, что ты так хорошо и так быстро читаешь меня.

Она потянулась ко мне с поцелуем.

– А теперь расскажи, почему тебе так одиноко.

Меньше всего мне хотелось говорить об этом, лежа нагишом рядом с ней в ворохе скомканных простыней. Но какой-то внутренний голос подсказал: «Увильнешь от ответа и потеряешь важное чувство близости между вами».

Поэтому я рассказал ей о маме и папе, о том, как рос обычным мальчишкой в Индиане, зная, что мое будущее в другом месте... особенно после смерти матери. Она слушала молча. Когда я закончил, она обняла меня, притягивая к себе.

– Может быть, мой мир и отличался от твоего мира. Но твое детство – знакомая мне территория. Я тоже жила там, только с матерью такой же отстраненной, как и папа, окопавшейся в себе.

Середина февраля. Наша четвертая неделя вместе. Свежий снег. Потом унылая неделя дождей. Я выучил новое слово: *glauque*. Мрачный. Тоскливый. Изабель простудилась. Постоянный кашель, переходящий в глубокий рубленый баритон.

– Я должна бросить это, – сказала она, раздавливая сигарету «Кэмел» в пепельнице, балансирующей на моем голом торсе.

Мы лежали в постели. Настенные лингвистические часы показывали 18:00. Наши свидания два раза в неделю. Всегда в одно и то же время: с пяти до семи вечера. Всегда с трех-четырехдневным перерывом *après*⁴⁸. Правила. Ее правила. Я никогда их не оспаривал. С того самого первого утреннего звонка *après*. Когда я более чем прозрачно намекнул, что ждать четыре дня, чтобы снова увидеть ее, для меня смерти подобно. Своим холодным ответом она дала понять: *это границы. Прими или уходи*.

Я принял их. Запирал рот на замок всякий раз, когда чувствовал, что с губ готовы сорваться слова любви. Хотя был по-настоящему влюблен. И ничего на свете не желал больше, чем ее. Думая: мы идеальная пара. На всех уровнях.

Она это знала. Улавливала тот романтический вихрь, что кружил во мне. Он ей нравился. Потому что усиливал мою страсть к ней. Но однажды, когда я начал было признаваться в своих чувствах, шепча: «*Je t'aime*⁴⁹», она приложила палец к моим губам и прошептала в ответ:

⁴⁸ После (франц.).

⁴⁹ Я тебя люблю (франц.).

– *Arrête*⁵⁰.

Это было еще одно правило: мы могли называть друг друга любовниками, но не влюбленными. Даже при том, что в постели это никогда не было сексом. Мы всегда занимались любовью.

Я соблюдал правила. Задал несколько вопросов о ее жизни. Узнал, что она переводит роман австрийского писателя, которого называла мастером «раздробленного повествования». Я частенько поглядывал на заставленные книгами полки – книги на четырех языках, и так много незнакомых мне авторов. Какие же пробелы в моем ограниченном культурном образовании! Теперь мне хотелось их заполнить.

– Я так мало читал художественной литературы.

– Тогда начинай прямо сейчас.

На следующий день, вооружившись ее списком, я отправился в книжный магазин «Шекспир и компания» и купил романы Драйзера, Флобера, Золя и Синклера Льюиса. Теперь в распорядке моих бесконечно свободных дней появился еще один пункт. Я поставил себе задачу прочитывать не меньше двух романов в неделю. Изабель стала моим преподавателем литературы. Я узнал все о навязчивом переписывании Флобером «Мадам Бовари» и о том, что это был первый роман, затрагивающий тему скуки обыденности и разъедающего душу брака.

– Люди в большинстве своем женятся по любви, – сказала она. – А потом просыпаются спустя годы и обнаруживают себя в ловушке однообразия, апатии долговременной супружеской жизни.

– Но это, конечно, не твоя история.

Ее губы сжались. Я знал, что моя реплика вызовет такую реакцию. И все-таки не удержался. Потому что и на шестой неделе нашего романа – она предпочитала называть его *aventure* (одним из французских синонимов «любовного романа», как мне открылось позже) – я все еще толком ничего не знал о ее жизни за пределами этих предвечерних рандеву. Как и об ее муже. Она избегала разговоров о нем. Он так и оставался таинственной третьей стороной.

– Я говорю в общем, – заметила она. – В любом случае, одна из величайших истин «Мадам Бовари» заключается в том, что Эмма не очень умна и изначально не осознает, что Шарль, провинциальный врач, за которого она выходит замуж по мнимому согласию, – зануда.

– Как зовут твоего мужа?

Пауза. И наконец ответ:

– Шарль.

Что ж, теперь у него появилось имя.

Несколькими днями позже выяснилась и профессия: инвестиционный банкир в одном из финансовых домов Парижа. Разведен. Без детей – его бывшая жена не могла зачать. Шикарный парень: культурный, высокообразованный, с хорошими связями, сдержанный. Они с Изабель познакомились в 1969 году. Ей тогда было всего двадцать четыре. Она работала над диссертацией в Сорбонне. И только что порвала с «байкером-маоистом» по имени Эдмон.

– Все в Эдмоне было экстремальным. Его политические пристрастия. Взгляд на секс. Гнев на существующий миропорядок. Я провела с ним интересный год, но его агрессия ста-

⁵⁰ Прекрати (франц.).

новилаь опасной. Однажды я просто решила: хватит. И он вдруг превратился в маленького мальчика. Плакал, умолял дать ему еще один шанс. Агрессия, радикализм взглядов... все это было лишь фасадом. А слабость – такой непривлекательный атрибут в мужчине.

Неужели она намекала?

– А потом, в радикальном *volte face*⁵¹, я влюбилась в финансиста.

В тот момент я только-только вышел из оргазма, испытывая посткоитальное желание зарыться головой между ее ног. Она не возражала. Напротив, во время нашего последнего свидания в постели она дала мне понять, как это лучше делать, – ей нравилось, когда я приоткрывал ее губы и поглаживал их языком, и она особенно чувственно откликалась на эти медленные и обдуманые движения. Я схватывал на лету, как прилежный ученик. Поначалу она немного сомневалась, стоит ли говорить мне о своих предпочтениях. Я убедил ее рассказывать мне все без утайки.

Она научила меня не торопиться. Сдерживаться, пока она не достигнет высшей точки наслаждения. Говорила, что мы оба должны интуитивно чувствовать друг друга, когда сплетаемся телами. Подсказывала, когда нужно дать полный газ, а когда добавить нежности, мягкости. Она спросила меня о моем прошлом сексуальном опыте. Я признался в его ограниченности. В старших классах у меня была подружка по имени Рэйчел; родом из строгой баптистской семьи, она обнаружила, что без ума от секса, как только мы впервые попробовали его вместе. «Знаешь, я люблю тебя, и то, что я сделала это с тобой, тому подтверждение». Но нам было всего по семнадцать. Мы были типичной для Среднего Запада парочкой пубертатного возраста, занимающейся сексом на заднем сиденье «бьюика» ее брата-солдата. Или в мотеле за шесть долларов за ночь, который обнаружили за границей штата в распутном Иллинойсе. Страх перед беременностью. Требование, чтобы я посвятил себя ей. Я сбежал от этого в университет штата в Блумингтоне, а Рэйчел поступила в педагогический колледж, где оказалась «с ребенком» по милости одного из своих профессоров. Она родила сына и стала женой человека на двадцать три года старше ее.

– По крайней мере, я не настолько стара, – сказала Изабель.

– Сколько тебе лет?

– А то ты не знаешь, что это запретный вопрос.

– Не в том случае, когда мы спим вместе.

Пауза. Сжатые губы. Затем:

– Мне тридцать шесть.

– Ты нисколько не старая.

– Ты слишком добр. И теперь я меняю тему, полностью сознавая, что по глупости заговорила о разнице в возрасте между нами.

– Мне нравится, что ты старше.

– Мне нравится, что ты моложе.

– Сколько лет твоему мужу?

Она потянулась за сигаретами.

– Ты так и не рассказал мне о других своих возлюбленных.

– В колледже я был слишком занят учебой, чтобы заводить постоянную девушку.

– Но ты ведь спал с женщинами в последние четыре года.

– Их было три или четыре. Среди них одна старшекурсница с экономического факультета, Элейн. Она хотела серьезных отношений со мной.

– Но тебе хотелось вырваться из ловушки?

– А твой муж?

– Что мой муж?

⁵¹ Поворот кругом (*франц.*).

– Его возраст?

– Пятьдесят.

– Значит, он на четырнадцать лет старше тебя... а я на четырнадцать лет моложе.

– Случайность.

Я узнал, как они познакомились, – за ужином у общего приятеля.

– Знаешь это выражение – *un coup de foudre*? То, что вы, американцы, называете: *с первого взгляда*. Так произошло у нас с Шарлем на том ужине. Через несколько недель он ушел от жены, нашел нам квартиру.

– Ты все еще любишь его?

Она нахмурилась, недовольная прямотой моего вопроса. Но все равно ответила:

– Да, моя любовь к Шарлю никуда не ушла и по-прежнему глубока.

– Тогда зачем делать это?

– Жизни нужно много пространств, много закутков.

– Например, с молодым неженатым мужчиной вроде меня?

– Почему такой сердитый тон?

– Я никогда не думал об этом как о закутке. Как об удобстве.

– И я тоже. Просто пыталась объяснить, что...

– Образно говоря, я – помещение. Куда можно зайти, получить то, чего хочется, не заморачиваясь обязательствами, а потом уйти, закрыв за собой дверь...

– Сэмюэль, прошу тебя...

– Просишь *что*? Принять твой «рационалистический» подход к тому, что между нами?

– И что же между нами?

– Любовь.

– Ты путаешь страсть с любовью. Страсть – это то, что мы чудесным образом создаем вдвоем. Я тоскую по этим часам, проведенным вместе. По твоим прикосновениям. По тому, как чувствую твоё желание, твою потребность во мне. И, надеюсь, ты так же чувствуешь моё желание, мою потребность в тебе.

– Ты – все, чего я когда-либо хотел.

– Но ты так мало знаешь обо мне.

– Что ты хочешь этим сказать?

– У нас с тобой нет повседневной жизни.

– Потому что ты регулируешь наши встречи. Два раза в неделю, два часа, не больше.

– Я *замужем*. У меня есть повседневная жизнь с кем-то другим. Жизнь, которую я не собираюсь разрушать. Ты ведь никогда ни с кем не жил, не так ли?

Я отрицательно покачал головой, сознавая, что моя неопытность в таких вопросах вот-вот всплывет передо мной зеркалом, в котором проступит капризный мальчишка-любовник, переступающий множество границ. И самая важная из этих границ – желание большего, в то время как у меня и так уже много всего с Изабель. Это часто бывает в делах интимных. Их никогда нельзя просто свести к эротическому наслаждению друг другом. В какой-то момент они приобретают больший смысл. И требуют привязки перспективы будущего; страсти ради страсти становится недостаточно. Мне еще предстояло выработать эту насущную человеческую потребность в обязательстве и обладании. Здесь Изабель намного опережала меня.

– Когда у тебя в конце концов появятся семейные отношения, ты увидишь, как изменится ваша совместная жизнь. Независимо от того, насколько глубока любовь, рано или поздно приходит повседневность. Вы просыпаетесь рядом изо дня в день, изо дня в день. Страсть, которую вы когда-то испытывали друг к другу, утихает. Потому что теряет свою новизну, любовную горячность. И, если у вас есть дети...

– Почему у тебя нет детей?

– Это разговор для другого раза.

Она затушила сигарету, откинула одеяло, встала с кровати; ее гибкое тело, теперь так хорошо мне знакомое, освещалось каскадным пламенем свечи на маленьком столике, который служил обеденным. Она открыла дверь в крошечную ванную и сняла с крючка обычный серый махровый халат. Завернувшись в него, она объявила:

– У меня прием, на котором я должна быть меньше чем через час.

– Так ты хочешь, чтобы я ушел?

– Думаю, сегодня мы зашли слишком далеко.

– Под этим ты подразумеваешь, что я начинаю становиться собственником.

– Под этим я подразумеваю: если ты не согласен с тем, чтобы в установленных границах получать и доставлять удовольствие... если настаиваешь на том, что тебе «нужно нечто большее»... мне придется покончить с этим прямо сейчас.

Я заморгал в растерянности. Часто-часто. Я изучал ее лицо, наполовину скрытое от меня. На нем застыло выражение жесткое, напряженное, расчетливое. Внутренний голос прошипел: «Не вздумай потерять все это из-за своего глупого собственничества».

– Извини, – сказал я.

– Не извиняйся. В каком-то смысле это даже трогательно. Мило.

– Позволь мне сказать прямо: у меня нет реальной жизни вне этого.

– Ты *здесь*. В Париже. *Живешь* здесь.

– И у меня есть ты. Два раза в неделю. И это замечательно.

– Так оно и есть.

Я выбрался из постели. Подошел к ней. Обнял, распахивая ее халат. Снова крепко прижал ее к себе. Она отступила назад, запахивая халат.

– У меня нет времени, – прошептала она.

– Твое мероприятие в семь. Сейчас всего шесть.

– Это в восьмом округе. Мне понадобится полчаса, чтобы добраться туда на метро, и прежде еще полчаса, чтобы привести себя в порядок.

– Чтобы смыть все следы меня, нас. Он ведь будет там, не так ли?

– Ты имеешь в виду моего мужа, когда говоришь «он»? Шарля? Да, он будет там. Виновник торжества, получающий награду, – наш давний друг.

– *Почему* у тебя нет детей? – брякнул я, не успевая подумать. Вопрос вырвался выстрелом из дробовика.

Она провела рукой по глазам. Повернулась ко мне.

– Его звали Седрик. Он родился тридцать первого декабря 1973 года. Его первые шесть месяцев были абсолютным счастьем – даже бессонные ночи, усталость, издерганность. Шарль был предан ему. Материнство – это все, о чем я когда-либо мечтала. Особенно после того, как выросла с родителями, не уверенными в своих родительских чувствах; они были рядом, но всегда как будто где-то в другом месте. – Она кивнула на сигареты и зажигалку, все еще валявшиеся на разгромленной постели. Я потянулся за ними, попутно подхватывая джинсы. Пока она закуривала, я наполовину оделся. – Ты одеваешься, потому что знаешь, что я собираюсь тебе сказать.

Я схватил футболку и натянул ее через голову. Я догадывался о том, что мне предстоит услышать, но промолчал. Она посмотрела мне в глаза. Ее взгляд не дрогнул, когда она продолжила:

– В ночь на 12 марта 1974 года я уложила Седрика в кроватку. Как обычно, я держала его на руках и шептала, как сильно его люблю. Вскоре он заснул. Мы с мужем тоже легли. И проспали всю ночь напролет. Когда я проснулась, было почти восемь утра, мы с Шарлем никогда не вставали так поздно – Седрик был нашим естественным будильником. Но в то утро в доме стояла тишина. Когда я вошла в детскую, он лежал в своей кроватке, неподвижный. С легкой улыбкой на лице. Эта улыбка у меня перед глазами, она всегда будет со мной, пока я

жива. Стоило мне взять его на руки, как я уже кричала. Потому что он не дышал. Не реагировал на мои вопли. На мои мольбы откликнуться. Седрик даже не шевельнулся. Потому что был мертв. – Молчание. Она ни на мгновение не отвела взгляда. – Синдром внезапной детской смерти. Полиция, судмедэксперт, проводивший вскрытие, психиатр, к которому меня отправили после того, как я начала строить планы самоубийства, в чем видела единственное избавление от той сокрушительной, невыносимой боли, что меня топила... Все специалисты говорили мне одно и то же: моей вины в случившемся нет. Синдром внезапной детской смерти не имеет ни закономерности, ни причины. Как будто Ангел Смерти просто выбрал наугад здорового ребенка и решил забрать его крошечную жизнь. Седрику было пять месяцев, две недели и шесть дней, когда он умер. Первые два года после его смерти я была практически затворницей. Похудела на пятнадцать килограммов. Ни одно снотворное из того, что прописывали врачи, не действовало более трех часов. Никакой транквилизатор не снимал боли. Мы с Шарлем всерьез говорили о том, чтобы поместить меня на время в стационар. Не скажу, что настал день, когда я пошла на поправку, когда в голове что-то щелкнуло и агония утихла. Агония никогда не закончится. Но у меня не было другого выбора, кроме как вернуться к жизни.

Отчасти я понимал, что следовало бы взять ее за руку. Но в моем взбудораженном сознании крутился все тот же вопрос.

– И после этой трагедии...

Она перебила меня:

– ... не пытались ли мы завести еще одного ребенка?

В этот момент я ожидал, что она отвернется. Она этого не сделала.

– Пока нет. Но, как только ты вернешься в Америку, я откажусь от таблеток.

– Шарль знает об этом?

– Шарль – мой муж. Конечно, мы обсуждали этот важнейший вопрос. Так принято в семье, Сэм.

– Спасибо тебе за это «важнейшее» открытие.

– Что за капризный тон?

– Капризный... капризный? Как у маленького мальчика...

– Я этого не говорила.

– Но именно таким ты меня видишь: наивным мальчиком с определенной степенью сексуального мастерства. С кем ты можешь время от времени встречаться на пару часов, а потом выбросить, как только решишь, что готова к новому ребенку.

– Желание встречаться с тобой, проводить с тобой эти драгоценные мгновения, не имеет ничего общего с моим намерением снова попытаться стать матерью. После смерти Седрика я решила, что больше не захочу еще одного ребенка, потому что не смогу заново пережить агонию возможной потери. Потому и перешла на таблетки, чтобы никогда не беременеть. Но потом передумала.

– Тем более что срок пребывания здесь американского малыша подходит к концу.

– Как ты смеешь смотреть на это так упрощенно? – Теперь в ее голосе звучал гнев.

– Упрощенно? Я же всего лишь твой промежуточный секс-партнер; утешение в постели на время, пока ты «все еще скорбишь». И мне светит отставка, как только ты решишь...

– Где твоя эмпатия, Сэмюэль? Твоя доброта?

– Ты бы никогда не задумалась о том, чтобы родить ребенка от меня.

Она сердито уставилась на меня широко распахнутыми глазами.

– О, так вот из-за чего на самом деле вся эта истерика? Это должна быть твоя сперма...

– Я люблю тебя...

– Ты понятия не имеешь о том, что такое любовь, Сэмюэль. Потому что пока еще ничего не знаешь о жизни.

– В то время как твой престарелый муж...

– Вряд ли его можно назвать престарелым. Но да, он почти в два с половиной раза старше тебя – и по-настоящему зрелый взрослый.

– Не то что я.

– Да, не то что ты. Потому что настоящий мужчина проявляет сострадание, понимание и бескорыстие. Мы с Шарлем вместе потеряли ребенка – худшее испытание для пары. И Шарль был рядом со мной, когда я скатывалась в пучину безумия. Вот настоящий мужчина. А не какой-то обиженный юноша с ограниченным взглядом на сложности...

Я потянулся за свитером и курткой.

– Я больше не буду отнимать у тебя время.

Я вышел за дверь и спустился по лестнице, ни разу не обернувшись, чтобы проверить, смотрит ли она, как я ухожу из ее жизни.

Следующим вечером я ехал на поезде в Венецию. Семнадцать часов пути. Чтобы сэкономить, я не стал покупать спальное место в вагоне второго класса, как и плацкарту. На остановке в Тулоне, когда рассвет очертил небо и разлился по чернильным водам Средиземного моря, меня разбудила пожилая пара, новые пассажиры, недовольные тем, что я разлегся на их местах. Купе оказалось зарезервированным. Как и все остальные. Вагон-ресторан еще не открыли, да и в любом случае такие траты не вписывались в мой бюджет. Следующие пять часов пути на восток я провел в коридоре вагона, устроившись на полу и подложив под спину рюкзак. Я убеждал себя в том, что мой уход из жизни Изабель полностью оправдан; что она использовала меня все это время. Уже потом, много позже, я понял одну важную вещь: совершая что-то по глупости, мы зачастую переписываем сюжетную линию, чтобы с ней жилось удобнее. Но чем больше я пытался исказить повествование, оправдывая свою выходку, тем яснее осознавал, что уклоняюсь от сути вопроса. Наконец я решил отвлечься, достал из рюкзака очередной роман и погрузился в чтение.

«Мадам Бовари». Изабель была так права насчет Флобера. Разрушитель формы, он создал новую литературную группу, написав первый роман о бытовой скуке. Шарль Бовари, грустный провинциальный маменькин сынок. Зануда. Шарль, муж Изабель, – преуспевающий столичный финансист. Они вместе нашли любовь. Вместе зачали ребенка. Потом вместе пережили трагедию, какую не могли и вообразить. А я катком прошелся по ее горю. Гордость глупца. Отсутствие душевной тонкости красноречиво говорило о моей незрелости.

Итальянские пограничники зашли в поезд в Вентимилье. Один из них стрельнул у меня сигарету после того, как шлепнул отметку в мой паспорт. А между тем у меня в голове вырисовывался план. Сойти здесь. Следующим поездом пересечь границу в обратном направлении. Вернуться в Париж поздно вечером, но прежде выйти на час в Лионе, чтобы позвонить Изабель и вымолить прощение.

От Лиона до Парижа пять часов на поезде. Я бы вернулся в пятый округ до полуночи. Рухнул в постель. Проспал глубоким сном раскаявшегося, искупившего вину. Утром я бы отправился в *Le Select* и завис там бесцельно на несколько часов. А ровно в пять пополудни уже набирал код на двери дома 9 по улице Бернара Палисси. И снова оказался бы в прощающих объятиях Изабель.

Что заставило меня отказаться от этого плана и не исправить ущерб до того, как его усугубит расстояние? Как бы отчаянно мне ни хотелось спрыгнуть с поезда и помчаться в Париж, мои представления об Изабель, пусть и ограниченные чудесными контурами ее тела, подсказывали, что такой поступок выставит меня эмоционально зависимым подростком. Тем более что после вчерашнего она, возможно, решила вычеркнуть меня из своей жизни. И кто мог винить ее за это?

Венеция в марте. Темное монохромное небо. Легкий коварный дождь. Огни канала: расплывчатые пятна. Дешевый полувоздушный отель с убогой кроватью и видом на переулок, где почти всю ночь совокуплялись разъяренные кошки. Я восхищался барочным водным великолепием этого города. Слушал арии Монтеверди на площади святого Марка и думал, что, возможно, Бог существует. Или, по крайней мере, тот, кто запускал свыше такую экстатическую музыку сфер. Я ходил пешком по пять-шесть часов в день. Лучшее лекарство от моей ползучей печали. Я позаботился о том, чтобы, помимо заказа еды и услуг, не попадать в ситуации, требующие разговора. Мера скорее карательная, но мне попросту не хотелось никакого общения. Я заказал себе билет на почтовое судно, которое через четыре дня должно было прибыть в Александрию, но после двух дней в море причаливало в афинском порту Пирей. Однако прежде чем исчезнуть в Греции, я решил исполнить то, что в американском футболе известно как пас «Аве Мария»⁵². Другими словами, попытка спасти безнадежное дело. Я зашел в «Вестерн Юнион» и отправил Изабель длинную телеграмму.

Я поступил глупо.

Я глубоко сожалею и прошу прощения за свое легкомыслие; за то, что причинил тебе боль.

Скажи только слово, и я вернусь в Париж. И не потребую ничего больше, чем наши заветные вечера вместе. Я здесь, в Венеции, до этой пятницы.

Я пойму, если ты скажешь «нет», и больше не побеспокою тебя, если таков будет твой ответ.

Думаю о тебе с бесконечной нежностью.

Со всей моей любовью.

Я добавил постскрипtum, указав адрес своего отеля на случай, если она захочет послать ответную телеграмму. А потом со мной можно будет связаться через «Американ Экспресс» в Афинах.

Я не надеялся на то, что она ответит.

Она и не ответила. Ощущение потери усилилось. И Венеция – самый призрачный, злобный и заболоченный из всех городов – лишь усугубляла мою безмолвную скорбь.

В последний день моего венецианского заточения мне пришлось выписаться из отеля еще до полудня. Я оставил свой рюкзак на стойке регистрации и направился в маленькое кафе неподалеку, чтобы пообедать дешевой пастой. Я выпил два бокала вина. Потом вернулся в отель, чтобы забрать свой багаж и ехать на речном трамвайчике в порт. Хозяин гостиницы протянул мне желтый конверт.

– Доставили пять минут назад, – сказал он. – Вам повезло... или нет.

Понятное дело, ведь телеграмма всегда является источником хороших или плохих новостей.

Я вскрыл конверт. И прочитал.

*Сэмюэль, твое послание тронуло меня... Как бы ни прошли те последние наши часы вместе, пожалуйста, знай, что, когда ты вернешься в Париж, я буду рада видеть тебя на рю Бернар Палисси, 9. Во второй половине дня, *bien sûr*⁵³.*

*Je t'embrasse*⁵⁴.

Изабель

Во второй половине дня.

⁵² Пас «Аве Мария» – бросок через все поле на последней минуте матча.

⁵³ Конечно (*франц.*).

⁵⁴ Целую (*франц.*).

Видимо, такова уж наша судьба. Изабель снова пыталась сказать: *это все, что я могу тебе дать*. Я отбросил ненавистную мысль. Заменяю ее осознанием:

Она выпускает тебя обратно.

Я сунул телеграмму в карман. Спросил у парня за стойкой разрешения оставить сумку еще на несколько часов и пошел в туристическое агентство, где покупал билет на корабль. Мне позволили за небольшую плату обменять его на билет в вагон второго класса на вечерний поезд до Парижа. Затем я поспешил на почту и отправил телеграмму.

Вернусь в Париж завтра поздно вечером. Je t'embrasse fort⁵⁵.

Я позвонил в гостиницу, где проживал в Париже. Администратор сказал, что мой прежний номер освободится завтрашним вечером. Я забронировал его на следующие десять ночей. Осталось решить последний бытовой вопрос. Найти офис TWA⁵⁶ и забронировать билет на обратный рейс в Штаты. С вылетом через одиннадцать дней. Беспосадочный перелет из Парижа в Нью-Йорк на «Боинге-707», затем стыковочный рейс в Миннеаполис. Моя летняя подработка начиналась первого июня. Секретарь судьи написала мне в Париж через «Американ Экспресс» за несколько недель до моего бегства, сообщив, что нашла мне жилье в небольшом отеле прямо напротив офиса судьи; и что я буду работать сорок часов в неделю, получая сто долларов; проживание в отеле оплатит фирма, но все остальные расходы предстоит покрывать из моего еженедельного жалованья. Как же мне тогда хотелось написать в ответ: *«К черту эту вашу должность клерка. Я и в Париже проживу по дешевке»*. Мне ли не знать, что откажись я от работы, подав уведомление в такой короткий срок, это может стать черной меткой в моем будущем резюме юриста. Так что я отбил ответную телеграмму:

Прибываю, как условлено, 30 мая, готов приступить к работе у судьи Холмкреста со следующего утра. С нетерпением ожидаю этой прекрасной возможности.

Лжец, лжец.

Но мы делаем то, что должны делать, чтобы выполнить свои обязательства, в надежде, что это каким-то образом продвинет нас вперед.

Тревожность свободы.

И я возвращался ко всем обязательствам, которые взвалил на себя.

Но сначала...

Поезд до Парижа, целая ночь и целый день в пути. Я купил спальное место. Но спал урывками.

Севернее Мюнхена я вышел из спального вагона. Пересадка на другой поезд. Теперь мне предстояло трястись на узком сиденье в вагоне второго класса одиннадцать часов до Парижа. И вот *La Gare de l'Est*, Восточный вокзал, в конце дня. Ранняя весна, прозрачный солнечный свет, струящийся сквозь стекло скошенной крыши. Я прошел мимо двух телефонных будок. Но звонить не стал.

– Месье Сэм!

Так приветствовал меня Омар, когда я втащил себя и свой рюкзак в крошечное лобби отеля. Он даже расцеловал меня в обе щеки.

– Как жизнь, Омар?

– Как обычно. Ничего не меняется.

Моя бывшая комната. Я распаковал вещи, схватил одно из тонких банных полотенец, побрел по коридору в душ и смыл с себя шестнадцать часов пути.

На следующее утро в *Le Select* хозяин вручил мне вчерашний номер «Геральд трибюн» и телефон. Когда диск-рулетка семь раз повернулся по часовой стрелке, рядом со мной появился мой стандартный завтрак – *un citron pressé, un croissant, un express*. Я закрыл глаза,

⁵⁵ Крепко целую (*франц.*).

⁵⁶ *Trans World Airlines* (TWA) – крупная американская авиакомпания, работала с 1930 по 2001 год.

вслушиваясь в телефонные гудки. Один. Два, три, четыре, пять, шесть... проклятье, ее нет дома. Семь, восемь, девять...

– Аллю?

Голос запыхавшийся, как будто она только что ворвалась в комнату.

– Изабель?

– Сэм?

– Да, это я.

– Как вовремя.

– В пять, как обычно?

– О да.

Я отсиделся в кинотеатре. Заглянул в книжный магазин. Я пытался подавить тревогу; этот непрекращающийся страх, который сидел во мне с самого детства, – страх быть отвергнутым.

В витрине издательства возле ее дома были выставлены все те же книги. Мне не нужно было сверяться с записной книжкой, чтобы уточнить код дверного замка. Он был выгравирован внутри. Дверь открылась со щелчком. Я пересек двор. Добрался до *Escalier C*⁵⁷. Нажал кнопку звонка рядом с ее именем на табличке. Жужжание. Меня пустили внутрь.

– Привет...

Ее голос донесся сверху. Я сказал себе: не беги. Я взбежал по лестнице, топоча каблуками по истертым деревянным ступенькам.

– Горячая голова...

Снова ее голос, теперь уже ближе. Спираль лестницы закручивалась все туже с каждым этажом. И вот наконец я предстал перед ней. Рыжие волосы, разметанные по плечам. Улыбка на губах. Я улыбнулся в ответ. Мне хотелось броситься в ее объятия. Вместо этого я пожал ее протянутую руку. Она увлекла меня за собой через порог, и дверь за нами закрылась. Она бросила сигарету в раковину на кухне и положила руку мне на затылок, собирая волосы в кулак. Притянув меня к себе, она поцеловала меня медленно, вдумчиво, и ее свободные пальцы нащупали стиснутую джинсами плоть, затвердевшую от отчаянного желания проникнуть в нее.

Обволакивающий аромат Изабель. Тоска, угнетавшая меня неделями. Осознание: в мире нет никого, похожего на нее. Никого, кого я хотел бы больше. Она уткнулась головой мне в грудь. Приглушенный вой, когда я дал волю своему желанию. Полная потеря равновесия. Утрачено всякое чувство времени и места. Пока я не рухнул куда-то. И тогда она взяла мои руки в свои. Ее глаза сверкали. Указательным пальцем она очерчивала контур моего подбородка, позволяя мне осыпать ее лицо, ее глаза нежными поцелуями.

Я сказал, что хочу обнимать ее обнаженную. Она позволила мне снять с нее рубашку и платье. Я сбросил с себя одежду.

Она наклонилась и поцеловала меня.

– Я скучала по тебе. Даже не думала, что буду так скучать.

– И я скучал по тебе.

Она снова провела пальцем по моему лицу, и я крепче сжал ее в объятиях. Еще мгновение – и мы снова занимались любовью. На этот раз никакой безумной страсти воссоединения. Вместо этого: нарочитая неторопливость. Обостренное чувство близости, которого я раньше не знал. Единение, сопричастность... для меня это была новая территория. Тем более что Изабель отвечала тем же. Втягивала меня глубже. Ее глаза не отпускали меня, как будто в жизни

⁵⁷ Лестница «С» (франц.).

не было ничего, кроме нас двоих, здесь и сейчас. Как будто мы оба нашли что-то столь же необъятное, сколь и мимолетное. Она посмотрела на меня:

– Это было... бесподобно. Редкость.

– Согласен... исходя из моего ограниченного опыта...

– Поверь мне, то, что мы испытываем здесь, вместе... это невозможно поддерживать изо дня в день. Вот почему я не хочу, чтобы ты улетал через Атлантику... когда тебе уезжать?

– Через девять дней. Но я могу вернуться... как только меня отпустят.

– И когда я смогу с тобой видиться. Потому что я прекращаю принимать таблетки через неделю после того, как ты уедешь. Может быть, я быстро забеременею. А может, и вовсе нет. *On verra*. Посмотрим. Я буду держать тебя в курсе. Но ты ведь вернешься ко мне, да?

Я поймал себя на том, что смотрю в узкое окно поверх книг и бумаг, разбросанных на ее столе. Я заметил проблеск света на изношенной черепичной крыше, медное сияние сумерек ранней весны; подумал о том, что я здесь, в этой крошечной квартирке на самом верху узкой лестницы в шестом округе Парижа, в постели с этой неповторимой, замечательной женщиной, признавшей в любви таким необычным способом, мне не совсем понятным... но нужно ли мне все понимать, когда мы сплетались телами под балками скошенного потолка? Разве она не все рассказала мне только что?

Я нагнулся и поцеловал ее.

– Я хочу увидеть тебя снова.

Она закрыла глаза. Едва заметная улыбка скользнула по ее губам.

– Очень хороший ответ, Сэмюэль.

Глава вторая

Мы договорились обмениваться двумя письмами в месяц. Ее идея, ее правила. Те, что она установила прямо перед моим отъездом в Штаты, где меня ожидала должность клерка в Миннеаполисе. Мне была ненавистна мысль о прощании с Парижем. Ужасала перспектива трех месяцев в заурядном городе глубинной Америки. Как ужасало и расставание с Изабель. Она настойчиво призывала меня ехать – не только из-за профессиональных обязательств (что я мог понять), но и потому, что всерьез намеревалась забеременеть.

– Если ты останешься здесь, я захочу видеться с тобой несколько раз в неделю. И это создаст потенциальные проблемы с отцовством. Этот ребенок, он должен быть от Шарля.

Мы, как всегда, проводили время в постели. Незадолго до моего отъезда на запад. Обычный антураж после бурного секса: красное вино, сигареты, разговоры. Раз или два я вслух поразмыслил о том, почему бы нам не сходить куда-нибудь поужинать, чтобы продлить наш совместный вечер. Идея была немедленно отвергнута Изабель:

– Это наше особое время. Здесь и только здесь, где мы одни. – Я уловил скрытый смысл ее заявления: «Париж – город маленький, охочий до разговоров, а то, что между нами, – это глубоко личное. Вот почему нас не видят вместе на улице».

Я больше не заикался о том, чтобы выйти вместе на люди. Но все-таки спросил:

– В жизни Шарля есть кто-то еще?

– Да, есть. Правда, он не знает, что мне это известно. Но я знаю.

– Откуда?

– Нетрудно догадаться. Деловые встречи допоздна. Стремление пораньше лечь спать – разумеется, никакого секса – после randevu с «приятелем».

– Ты знаешь, кто она?

– Редактор в одном из крупных издательств. Немка. Очень высокая. Глубоко за тридцать. Совсем одинокая женщина, отчаянно нуждающаяся в ребенке.

– Ты хорошо осведомлена.

– *Paris est tout petit*⁵⁸.

– Как ты уже говорила.

– Шарля видели с этой женщиной. В Париже и других местах. Хотелось бы надеяться, что он принимает меры предосторожности, чтобы Грета не забеременела. Но как я могу настаивать на этом?

Я откинулся на подушки, улыбаясь. Изабель подтолкнула меня локтем.

– Мне не нравится твоя всезнающая ухмылка... с намеком: «Ох уж эти французы...»

– Но вы действительно играете по другим правилам.

– Не приплетай сюда всех моих соотечественников. Среди нас много тех, кто не потерпел бы такого соглашения, как у нас с Шарлем.

– Но оно у вас «негласное».

– Как ты со временем поймешь, мой дорогой Сэмюэль, это наилучший вариант. Никаких правил или предписаний, никаких требований и ограничений. Ничего не высказывается. Все понимается интуитивно.

– А если у него с ней будет ребенок?

– Нам придется обсудить сложности такой ситуации.

– Но ты не думала забеременеть от меня?..

– Я бы этого не допустила.

– Потому что Шарль был бы в ярости.

⁵⁸ Париж очень маленький (*франц.*).

– Потому что Шарль – мой муж, и Шарль был отцом Седрика. Шарль будет и отцом нашего следующего ребенка, если я снова забеременею.

– Значит, Шарль может завести ребенка на стороне. Но ты...

– Давай больше не будем об этом, Сэмюэль. Это мой выбор. И ты должен уважать его. Как должен и понимать, что...

– Знаю, знаю... я такой молодой, незрелый.

– Ты еще в процессе становления, Сэмюэль, и почти на тридцать лет моложе Шарля. У тебя нет детей и не должно быть на этом этапе твоей жизни. Тебе пока ни к чему какие-либо связывающие узы. Ты глубокий романтик, и это одна из многих черт, что я люблю в тебе. Но если бы у нас был общий ребенок... ребенок, рожденный из страсти, которую мы разделяем... смог бы ты отказаться от всякой возможности контакта с ним? Смог бы вынести, если бы его воспитывал другой отец?

Черт. Она знала меня лучше, чем я сам.

– Разве это неправильно – хотеть ребенка от тебя? – спросил я.

Она наклонилась и поцеловала меня.

– Это прекрасная мысль, и ты меня растрогал. Но... жизнь часто сводится к совпадению двух людей во времени. Что бы ты стал здесь делать? Учить язык? Возможно, пытался бы получить *carte de séjour* и работу? Ожидал бы, что я брошу мужа и начну новую жизнь с тобой, когда мои представления о тебе ограничиваются этими вечерними часами? Чарующие вечера. Страсть, которой мы оба предаемся в этой постели... все это бесценно. Потому что это редкость. Можно сказать, праздник. В отличие от долгого брака, в котором нет ни возбуждения, ни пылкости. Есть что-то другое, возможно, более глубокое, рутинное. Во всех супружеских парах, долго живущих вместе, угадывается подтекст. У нас с Шарлем иначе: наши отношения не омрачены презрением. Мы о многом умалчиваем, чтобы не причинить друг другу боль. Это, *mon jeune homme*, и есть любовь. Возможно, уже не страстная любовь. Но все-таки любовь.

Мне хватило ума больше не задавать вопросов. Я ограничился лишь раскаянием:

– Прошу прощения за то, что повел себя как собственник. Мол, «почему не я?» и все такое.

Изабель коснулась моих губ легким поцелуем.

– Так мы будем счастливее, – сказала она.

Я старался не выглядеть слишком навязчивым в наш последний вечер.

– Завтра в это время я буду где-то в американском воздушном пространстве.

– А я буду сожалеть о твоём отсутствии. Буду очень скучать по тебе. Скажи мне, что ты найдешь возможность вернуться в Париж.

– Если я приеду на Рождество, ты, наверное, уже будешь носить малыша.

– На Рождество ничего не получится, независимо от беременности. Но, если ты приедешь весной... я вернусь в форму, и у меня будет няня, которая позволит мне улизнуть на пару часов, чтобы встретиться с тобой здесь.

Весна 1978 года. Через год. Она словно прочитала мои мысли:

– Год – это ничто. Наши вечера... они никуда не денутся. Они всегда будут частью нас.

Ее слова на прощание.

Утрата была для меня новым чувством, неизведанным до сих пор. Судья в Миннеаполисе, джентльмен, высеченный из эмоционального кремня: сухой, строгий, рассудительный в своей лаконичности. От клерка он требовал убедительности и скромности, и все это я ему предоставил. Мы с ним были на одной волне, волне Среднего Запада. Он был скуп на похвалу, но меня, чьи годы становления прошли рядом с безучастным отцом, ничуть не смущало его

каменное лицо. Летом в Миннеаполисе особенно влажно и душно. Отель мне подобрали простенький, без изысков. По вечерам я засиживался за работой допоздна, зачастую печатая отчеты до самого рассвета. Почти каждый день я совершал пробежки вдоль берега озера. По выходным ходил в кино, заходил в бар, где всегда подавали холодное пиво, работал кондиционер и крутили вполне сносные блюзы. Я ловко уклонялся от внимания барменши Лайзы, которая пару раз давала мне понять, что ее бойфренд-дальнобойщик в рейсе. Она как будто знала, что я живу один, в отеле за углом, всего в двух шагах от заведения. Я не принял ее предложений, как бы одиноко себя ни чувствовал. Потому что Изабель по-прежнему занимала мои мысли.

Срок моей стажировки подходил к концу. В последний рабочий день судья нашел для меня три прощальных слова:

– Ты хорошо справился.

Вот и весь разговор.

На выходные я поехал домой навестить отца. Мне повезло – моей мачехи не было в городе.

– Дороти так расстроилась из-за того, что не сможет с тобой повидаться, – сказал отец. – Но ее сестре в Манси нужна помощь в выборе мебели для новой квартиры. Бедняжка в свои пятьдесят восемь все еще старая дева.

Я подозревал, что Дороти устроила этот уикэнд по дизайну интерьера, чтобы не встречаться со мной. Я всегда вел себя с ней корректно и осмотрительно, но чувствовал, что она знает о том, насколько мне чужд ее строгий баптистский взгляд на мир. Поэтому я с облегчением воспринял ее отсутствие. Мне выпала возможность провести время с отцом. Как всегда, он выразил удовольствие видеть меня. Как всегда, казалось, мало что мог мне сказать, – и выглядел сдержанным и неловким, когда я попытался инициировать некоторую степень близости отца и сына. И не то чтобы между нами существовала какая-то антипатия. Просто сказывалось долгое отсутствие контакта. Отец терпеливо и с некоторым интересом слушал мой санированный рассказ о пребывании в Париже (он пришел бы в ужас, узнав о том, что у меня был роман с женщиной, нарушившей седьмую заповедь). Я рассказал ему о своей работе у судьи. Он расспрашивал о моих планах на Гарвард. Я пытался вытянуть из него информацию о его собственной жизни, но получал привычные скупые ответы. Я помог ему перекрасить подвал, который Дороти только что переделала под съемные апартаменты. Пару раз мы совершили долгие прогулки по тому, что в Индиане считается лесом. Дважды мы поужинали в стейк-хаусе, одном из заведений местного бизнеса отца. Нам удавалось заполнять неловкое молчание, то и дело вползавшее в нашу беседу. Когда в воскресенье он привез меня в аэропорт, я обнял его на прощание и сказал, что люблю его.

– Я тоже люблю тебя, сынок, – ответил он веселым голосом, лишенным эмоций.

Уже в самолете, по пути на восток, я поймал себя на мысли: так всегда и будет у нас с отцом, который, хотя ни в коем случае не подлый и не злобный, останется для меня эмоционально недоступным.

Самолет приземлился в Бостоне. Я взял такси и, пересекая реку, отправился в Кембридж. А потом...

Юридическая школа. Нас, первокурсников, пятьсот восемьдесят человек. Разделенных на восемь конкурирующих групп. Все эти предварительные разговоры о том, что мы одаренные, избранные, рассеялись с началом занятий. В первый же учебный день нам внушили страх: каждый профессор вдалбливал нам мысль о том, что отныне мы боремся за нашу академическую жизнь; что вступаем в мир, где правит социальный дарвинизм в соответствии с правилами Лиги плюща.

Уголовное право, договоры, гражданский процесс, деликты, законодательство, регулирование, собственность. Занятия зачастую велись сократическим методом. Безжалостно отлу-

чали тех, кто не мог справиться с жестким расписанием и прессингом. Техника выживания: абсолютная сосредоточенность, подкрепленная необходимой настойчивостью. В первую неделю меня дважды отчитывали за недостаточно информативный ответ на вопрос, заданный профессором по деликтам.

– Вы уверены, что ваше место здесь? – обратился он ко мне. Никаких смешков и ухмылок от моих сокурсников. Все знали, что вскоре им тоже предстоит пережить публичный позор.

Двенадцать студентов из моей группы выбыли в течение шести недель. Один из моих сокурсников принял убойную дозу снотворного после того, как его три раза подряд высмеяли в классе. Парень выжил, но все-таки перевелся в школу бизнеса. Никто и словом не обмолвился о профессоре и его садистских методах. Это воспринималось просто как часть декора.

Мне удалось получить одноместную комнату в общежитии. Я приходил туда только ночевать. Четыре часа занятий в день. Восемь часов самостоятельной работы. Библиотека юридической школы была открыта до полуночи и всегда полна народу. Ни у кого из нас не было близких друзей. Мы все были слишком измучены, отягощены учебой, и сил на дружбу просто не оставалось. Я заставлял себя бегать трусцой по полчаса в день по тропе вдоль реки Чарльз. Осень в Кембридже считается чудом Новой Англии – если я успевал это заметить. Я предоставил себе один выходной в неделю. Субботу. Затем наступало воскресенье, и я снова проводил по девять часов, сгорбившись над учебниками по юриспруденции.

Юридическая школа. Секс не входил в повестку дня. Я скучал по нему. Хотел его. Но не искал. Слишком много мыслей о Париже. В отличие от многих моих сокурсников, я не жаловался на всепожирающую природу Гарварда. Больше у меня в жизни ничего не было.

Приходили письма от Изабель – короткие, нежные, с редкими упоминаниями о переводческой работе и парижскими анекдотами. Концовкой служили одни и те же строчки:

Всегда думаю о тебе, мой дорогой Сэмюэль.
Je t'embrasse.

В середине октября ее второе за месяц письмо заканчивалось совсем по-другому:

Мне нужно сказать тебе одну очень важную вещь, Сэмюэль. Четыре месяца назад я обнаружила, что беременна. Ребенок должен родиться в середине марта. Это потрясающая новость. Я так счастлива, что благословение свыше – иначе и не скажешь – снова пришло ко мне. Но и напугана не меньше... по многим очевидным причинам. В ближайшие месяцы мне нужно полностью сосредоточиться на том, чтобы пережить эту беременность без осложнений. Поэтому в обозримом будущем я прекращу нашу переписку, но с надеждой, что она возобновится, как только я буду уверена, что с моим ребенком все в порядке.

Надеюсь, ты отнесешься к этой новости разумно, Сэмюэль. И порадуешься за меня.

Конечно, я написал ей в ответ сердечное письмо; сообщил, что рад за нее и надеюсь, что этот ребенок принесет ей много счастья; пожелал ей всего наилучшего. Но втайне переживал период молчаливого отчаяния, траура. Меня не покидало ощущение, что, несмотря на все ее заверения в возможной будущей связи, Изабель на самом деле завершала нашу короткую страстную историю. Я не злился на нее. Просто чувствовал себя каким-то потерянным. Я поймал себя на мысли, что последние четыре месяца, с тех пор как вернулся из Парижа, держался за абсурдную веру в перспективу нашей совместной жизни. Романтическая надежда часто оборачивается упражнением в уклонении от реальности.

Как всегда, меня поглотила чудовищная нагрузка юридической школы. Работа – единственное противоядие от потерь. Или, по крайней мере, так я твердил себе, пока не зашел в бар недалеко от Симфонического зала, где устроился на табурете за стойкой, рядом с женщиной

по имени Шивон. Ирландка. Родом откуда-то с запада, из области под названием Коннемара. Огненно-рыжие волосы, как водится. В этом году досрочно окончила юридический факультет дублинского Тринити-колледжа. Последние шесть месяцев путешествовала по Америке. Через неделю собиралась домой, в Дублин, где ей предлагали работу адвоката в ведущей юридической фирме. Мы оказались зеркальным отражением карьерной траектории друг друга, и я сразу заинтересовал ее как «коллега из Гарварда».

– Я тут познакомилась с некоторыми из ваших гарвардских парней, – разоткровенничалась она после второй пинты «Гиннесс», – и все как один, похоже, влюблены в аромат собственной важности. Но ты либо редкий образец скромности, либо из тех ушлых типов, что используют застенчивость как приманку.

Шивон могла быть серьезной, требовательной и буйной. А после нескольких «шотов» виски могла прийти в ярость. «Психическая» – так она описывала себя в этих экстравагантных состояниях. Шивон была болтлива. И одинока. Как и я. Я проводил ее до дешевого отеля на Копли-сквер, где она снимала комнату. Сказал, что буду рад увидеть ее снова, и чмокнул в щеку, пожелав спокойной ночи. В ответ она схватила меня за затылок и просунула язык прямо мне в горло. Спустя несколько минут мы уже были в ее обшарпанной комнате и срывали друг с друга одежду. Шивон была плотоядной. Она впивалась ногтями в мою голую спину. Кусала меня за уши в моменты необузданной страсти.

С тех пор я проводил дни, погруженный в изучение права, а ночами еще глубже погружался в Шивон. Она толкалась, раскачивалась и кричала, когда мы занимались любовью. Ее оргазм всегда сопровождался восклицанием: «Господи, черт тебя дер!» Мне нелегко давалось идти в ногу с ее эротической программой. В сексе с ней – низким, грязным и грубом – было что-то азартное. Это не имело ничего общего с любовью. Когда хаос совокупления заканчивался, она легонько тыкала меня в плечо и говорила:

– А ты ничего.

Шивон была умной, веселой и сверхрациональной. Она быстро меня раскусила: склонность к одиночеству, потребность в общении, отсутствие хотя бы подобия семейного тепла.

Она поделилась своими наблюдениями в нашу вторую ночь. В тот раз Шивон колотила кулаком по хлипкой стенке, когда мы занимались любовью. Так что парень из соседнего номера постучался к нам и спросил, не драку ли мы затеяли.

– Только в моей гребаной голове, – крикнула Шивон через дверь и рассмеялась как безумная, протягивая мне бутылку дешевого вина, которую мы купили, когда выходили поужинать, и откупорили, прежде чем скинуть одежду.

Не изменяя собственным привычкам, я засунул пробку обратно в бутылку, прежде чем мы упали в постель. А потом наблюдал, как моя сумасшедшая любовница-ирландка, вытащив зубами пробку, плеснула вина в два маленьких стакана, оставленных на умывальнике, после чего взгромоздилась на него и помочилась.

– Неохота снова одеваться, чтобы тащиться в сортир, – объяснила она. Общие туалеты находились в коридоре. – Тебя ведь это не напрягает, не так ли?

– Нисколько.

Я прикурил для нас две сигареты, размышляя о прелестной абсурдности этой сцены. Уже через несколько мгновений девушка свернулась калачиком у меня под боком на бугристой двуспальной кровати, чокнулась со мной стаканом и сказала:

– А теперь я хочу послушать, что думает американский юрист о сравнительных элементах недобросовестной конкуренции и законе о товарных знаках.

Она пыхнула сигаретой *Lucky Strike*. Шивон обладала аналитическим складом ума. И любила то, что называла «диалектикой закона», разбирая его сухие предписания так же, как мои знакомые математики находили поэзию в исчислении. Она могла без усталости говорить о каком-нибудь правонарушении. Шивон нисколько не стеснялась того, что приехала с «Дикого

Запада», как она окрестила свою родину, графство Голуэй. Несмотря на всю самоуверенность, она по-прежнему считала себя «калчи»⁵⁹ и, казалось, была одержима идеей произвести фурор в ирландском юридическом мире.

– Я знаю, что твое сердце где-то в другом месте, – сказала она мне в наш третий вечер, когда мы сидели в итальянской забегаловке в Норт-Энде. Перед нами стояли тарелки с закусками и пустая бутылка домашнего вина в ожидании, когда ее заменят полной.

– Не понял? – спросил я, ошеломленный ее заявлением.

– Послушай себя. Ты все время как будто обороняешься. Никогда не играй в покер, Сэм. У тебя все на лице написано.

– В моей жизни никого нет.

– Да, черт возьми, есть, и, если мой тон говорит тебе что-то, я вовсе не упрекаю тебя за это.

– Я никогда не спрашиваю тебя о твоей жизни в Дублине.

– Я это заметила и в какой-то степени оценила. Но, чтоб ты знал, там есть парень, который хочет жениться на мне. Его зовут Кевин. Толковый, порядочный, разумный и считает меня лучшим, что когда-либо встречалось ему на пути. Я одобряю его хороший вкус. Но знаю, что не выйду за него замуж. Потому что вижу, как скука уже стоит на пороге. И одна моя половинка хочет еще какое-то время покурлесить с придурками, что автоматически вычеркивает тебя из списка. Не то чтобы ты был таким же занудой, каким обычно бывает Кевин. Ты тихий. Но в том смысле, что это намекает на большое горе внутри. И ты влюблен... только не в меня. Не то чтобы я ожидала, что ты влюбишься в меня. Или что это продлится дольше, чем неделя. Да на самом деле это и невозможно, поскольку я должна вернуться в Дублин, чтобы занять свое место в адвокатской конторе «Хики, Бошан, Кирван и О'Рейли». Без сомнения, в течение следующих двух лет я куплю дом, потому что это разумно. Без сомнения, я встречу адвоката, в ком будет чуть больше задора, чем в бедном милом Кевине; выйду замуж, устроив пышную свадьбу, а потом окажусь в интересном положении. И, вероятно, не остановлюсь на этом и нарожаю кучу детей – потому что это тоже ожидаемо и вроде как то, чего я хочу. Точно так же, как хочу послать телеграмму Хики, Бошану, Кирвану и О'Рейли и сказать им, чтобы они искали себе кого-нибудь другого; послать все к черту и укатить куда-нибудь в Австралию годика на три, устроиться барменшей на пляже, продавать пиво, спать с серферами и говорить себе: *«Вот это и есть свобода»*, хотя знаю, что, вероятно, проснусь в пятый гребаный раз с каким-нибудь придурком по имени Брюс, удивляясь, почему, черт возьми, я не в Дублине и не пробиваю себе дорогу в жизни. Что подводит меня к более важному вопросу: почему мы всегда хотим того, чего у нас, черт возьми, нет? А потом, когда получаем то, чего хотели, тотчас становимся недовольными тем, за чем так долго гнались? И да, я немного болтлива, но знаю, что откажусь от преходящей свободы ради чего-то более постоянного и прочного, нисколько не сомневаясь в том, что через десять лет обернусь и подумаю: еще шесть минут унылого секса с теперь уже пузатым мужем, еще одно гребаное утро сборов в школу... и почему, черт возьми, я не в Париже... хотя что мне делать в Париже?

– Могла бы выучить французский.

– В смысле, как ты.

– Я никогда не говорил, что учил французский.

– Но рассказывал о тех месяцах в начале этого года, когда жил в Париже, и я знаю, что женщина, которая все еще владеет твоим сердцем, француженка.

Я промолчал. Что было красноречивее любых слов.

– Так ты расскажешь мне о ней, как я рассказала тебе о своем Кевине?

– Мне нечего сказать, кроме того, что все кончено.

⁵⁹ Калчи – уничижительный термин для жителей сельской местности Ирландии.

– Чушь собачья. Ты все еще надеешься на воссоединение со своей возлюбленной. Хотя и убеждаешь себя в том, что все кончено.

Я почувствовал, как на моем лице загорелся лихорадочный румянец.

– Неужели я настолько открытая книга? – спросил я.

– Инстинкт – это все, любимый. Лишь увидев тебя, я поняла: никакой любви дома, разбитое сердце за границей, очень целеустремленный, очень честолюбивый и очень осторожный, чтобы никогда не показывать свою уязвимость кому-либо... особенно женщине, которая в настоящее время делит с тобой постель и получает от этого истинное удовольствие.

Я отвернулся, как от пощечины. Не потому, что разозлился или обиделся. Скорее потому, что она попала в самую точку.

– Знаешь, чего я боюсь? – наконец вымолвил я.

– Скажи мне, любовь моя.

– Что пойду на компромисс так же, как и ты.

Она наклонилась и поцеловала меня.

– Значит, нас уже двое, – сказала она.

Принесли новую бутылку вина.

– Давай поскорее прикончим ее, а потом вернемся в гостиницу и будем трахаться до одури. Это продлится только до понедельника, когда мне придется лететь обратно в Дублин навстречу моей гребаной помпезной судьбе. Не то чтобы наша связь продолжалась намного дольше, даже если бы я осталась.

– Почему ты так думаешь?

– Потому что мне нужен мужчина, которым я могу командовать. И, хотя ты не совсем мистер Мачо, что я одобряю, – ты держишь дистанцию. Ты одинок, но совсем не против одиночества. Несмотря на то, что больше всего на свете хочешь близости. При этом ты еще и независим. Отчаянно независим. Ты еще не понимаешь эту часть себя. Ты думаешь, что твое одинокое детство будет искуплено любовью хорошей женщины. Все дело в том, что, даже когда ты найдешь то, что примешь за любовь, тебя будет одолевать тоска по другой, параллельной реальности. Ты никогда не успокоишься. Твое одиночество всегда будет преследовать тебя. Потому что именно оно и определяет твою сущность.

Сказав все это, она откинулась на спинку стула и наполнила наши бокалы почти до краев. Потом наклонилась ко мне, ухватила меня за промежность, одновременно впиваясь в мой рот глубоким поцелуем.

– Только не говори, что тебе не льстит мой анализ твоего недомогания. Оно делает тебя гораздо интереснее, чем ты сам о себе думаешь.

– Никогда не считал себя интересным.

– Опять ты за свое. *In vino veritas*. Но хочу тебя предупредить: ты сможешь, если очень захочешь, обойти все ловушки, которых мне не избежать.

Я закурил сигарету. Отхлебнул вина.

– Буду иметь это в виду.

– Ты так и не рассказал мне про француженку.

– Нечего рассказывать.

– Потому что на самом деле рассказать можно много чего. И это тоже твой стиль молчуна. Закрытая книга родом со Среднего Запада. Как ни странно, я нахожу это сексуальным. Но для меня странно многое из того, что связано с мужчинами.

Наступил уикэнд. До отъезда Шивон оставались считанные дни, поэтому она настояла на том, чтобы я и близко не подходил к учебе, пока она не сядет на ночной рейс в понедельник. Это означало пропуск целого дня занятий, но я решил, что как-нибудь выкручусь. Мы занимались безумным сексом дважды в день. Ее неистовство в постели имело ярко выраженный чувственно-агрессивный заряд. Она поощряла меня к ответной жесткости, призывая царапать

ей кожу, отвешивать шлепки, проникать в ее интимные места, которые я до сих пор считал «запретными». Она упрекнула меня, когда я дал понять, что у меня есть свои границы; что содомия и садомазохизм не представляют для меня сексуального интереса.

– Ты немного робок, не так ли?

– Это мое баптистское воспитание.

– А я гребаная ирландская католичка. И не против того, чтобы мой любовник хлестал меня по телу или пробирался в мою задницу.

– У тебя такая романтическая манера обращаться со словами.

– И это говорит осторожный мальчик со Среднего Запада, который не хочет падать слишком низко и пачкаться. Я имею в виду, откуда ты знаешь, что тебе не понравится анальный секс, пока ты его не попробуешь?

– Может быть, я просто не хочу пробовать.

– Потому что это тяжкий грех по мнению какого-то идиота из воскресной школы, державшего в заложниках твое духовно-нравственное воображение все десять гребаных лет становления... и вот результат...

– У нас с тобой очень хороший секс.

– Но это не благодаря баптистскому сморчку, который не велел тебе совать свой...

– Верить или нет, но преподобный Чайлдс никогда не читал нам, детям, проповедей о таких вещах.

– Зато готова спорить, что он носил один из тех светло-голубых полосатых костюмов и галстук-бабочку.

– Ты проникательна.

– Или просто сочиняю на ходу всякое дерьмо – и что-то на самом деле оказывается правдой.

На следующее утро, когда я встал с кровати, чтобы пойти в туалет, Шивон крикнула мне вслед:

– Думаю, я оставила тебе шрамы на всю жизнь.

Какое-то время я избегал смотреть на свою спину в зеркале ванной. Зная наверняка, что меня ужаснет уродливая сетка царапин, оставленных вечно острыми ногтями Шивон. Даже когда я говорил ей в первые несколько раз в постели, что ее ногти впиваются мне в спину более чем болезненно, это лишь раззадоривало ее, и она продолжала с удвоенной силой. Я прекратил жаловаться. Но истязания не заканчивались. Наша свирепость в постели позволяла Шивон кусаться, царапаться и дергать за волосы с еще большей самозабвенностью. Я смирился с этой жестокой изнанкой секса с будущим судьей Верховного суда Ирландии; женщиной, с которой столкнулся двадцать семь лет спустя на большой международной юридической конференции в Берне. Ей пришлось представиться мне – она набрала тридцать фунтов и была одета в серый строгий костюм. Мы обменялись легкими поцелуями в щеки. Я узнал о ее судейской практике и о том, что она стала матерью четверых детей; старшему было двадцать четыре года. Муж Конор, сопровождавший ее, был коренастым и лысым; преуспевающий застройщик, он потерял ко мне всякий интерес, когда обнаружил, что мне нечего сказать об игре в гольф. В тот вечер у нас не было возможности поговорить вдоволь, поскольку мы сидели за разными столами. Но после бесконечных речей она все-таки подошла ко мне, немного навеселе, с бокалом вина в руке и визитной карточкой между пальцами.

– Если когда-нибудь будешь в Дублине... – сказала она, опуская карточку в карман моего пиджака.

– Кто знает. Хорошо выглядишь, Шивон.

– Прекрати нести чушь. Выгляжу как пухленькая матрона. Я тебе всегда говорила, что такой и стану.

– Не делай этого с собой.

– Но я уже все это сделала. – Она провела рукой по ярко выраженному изгибу бедер. – В отличие от тебя. Сразу видно, что ты следишь за собой. За одним исключением: печаль в твоих глазах. Что это значит?

Я отвернулся. Пожал плечами.

– Жизнь. В ней никогда не бывает просто, не так ли?

– И потому то, что было *у нас с тобой*, столько лет назад... это своего рода волшебство в сумасшедшем смысле, верно?

– В самом деле.

– Больше никаких шрамов на спине?

– Они зажили.

– А душевные?

– У меня остались только хорошие воспоминания.

– Обманщик.

– Я говорю правду. А что, твои воспоминания о том времени такие плохие?

– Вряд ли. Это был последний раз, когда я познала свободу... или, по крайней мере, позволила себе иллюзию свободы.

Иллюзия свободы.

Снимая рубашку с себя, двадцатидвухлетнего, в том захудалом номере бостонского отеля в начале зимы 1977 года, я знал, что шрамы на моей спине серьезные. Вот почему я избегал смотреть на них. Решив для себя: в наши последние дни она еще глубже вонзит ногти мне в кожу, сознавая, что скоро наступит неизбежный финал; наши пути разойдутся; этот секс и это пробуждение в одной постели, заполнение времени вместе... мимолетные иллюзии влюбленной пары... все это исчезнет, как только она сядет в самолет, возвращаясь в Дублин, в собственную, уже предначертанную судьбу.

Когда наступило утро понедельника, она разбудила меня в девять; ее рот был у меня между ног. Мгновенное возбуждение. Она оседлала меня, заскользила вверх-вниз. Нарочитая медлительность. Никакого насилия, никакой дикой ярости. Элегическая мягкость в ее движениях. Ощущение тихого прощания. Я протянул руку, позволяя пальцам погладить пушистый темный треугольник ее лобка. Нарастающие стоны; размеренное, но настойчивое ожидание взрывного высвобождения. Мои руки крепче сжали ее бедра, когда она провалилась глубже и задержалась наверху, пока по ней не прокатилась сильная дрожь. В тот день впервые ее ногти не истязали мою кожу. Еще кое-что впервые: мы кончили вместе. Когда она падала с меня, ее тело сотрясилось волнами оргазма. Я обнял ее. Она уткнулась головой мне в грудь. В какой-то момент даже всхлипнула. Потом она подняла на меня взгляд, коснулась моего лица.

– Это счастье, – сказала она. – И я не очень часто бываю счастлива.

Позже в тот день я предложил проводить ее в аэропорт.

– Не-а, мы прощаемся здесь. – Она повела меня обратно в лобби отеля, где забрала чемодан, который оставила у посыльного, поскольку должна была выписаться из номера в полдень. Тот вынес чемодан на улицу и остановил такси. Я впился в нее глубоким прощальным поцелуем. Высвобождаясь из моих объятий, она сказала: – Возвращаюсь от неожиданного к полностью ожидаемому.

– Желаю тебе интересной жизни, – сказал я. – Это самое меньшее, что мы должны самим себе.

– Заткнись, – буркнула она и крепко поцеловала меня.

Когда такси отъехало от тротуара, я махнул рукой в сторону окна, к которому она привалилась головой. Но она не заметила моего прощального жеста. Потому что была уже где-то далеко.

Примерно через неделю после того, как Шивон исчезла из моей жизни, я получил письмо от отца, в котором он сообщал, что они с Дороти решили провести Рождество в гостях у ее лучшей подруги детства в Палм-Спрингс. Он не спросил, хочу ли я присоединиться к ним в этот семейный праздник. Правда, сказал, что дом в Индиане будет в моем полном распоряжении, если я «захочу вернуться домой». Я прочитал эту фразу и поймал себя на мысли: «Что такое дом в наши дни?»

Тогда я обратился к привратнику общежития юридической школы и выяснил, что могу остаться в своей комнате на время каникул и пользоваться общей кухней в конце коридора. Я написал отцу открытку, выразив надежду, что они с Дороти отлично проведут Рождество, и сообщил, что останусь в Кембридже. В ответ отец прислал конверт с чеком на 200 долларов и запиской с номером телефона, по которому с ним можно связаться, пока он будет на Западе.

Надеюсь, ты сможешь купить себе какой-нибудь хороший подарок. Обязательно позвони в рождественское утро по нашему времени. С любовью, папа.

Я ответил, что только что нашел работу, чтобы занять себя на Рождество, и поблагодарил за щедрый подарок. Написал, что люблю его. И я действительно его любил. Как и смирился с тем, что, хотя и испытывая ко мне отцовские чувства, он просто был неспособен позволить мне приблизиться к нему.

Мой профессор по конституционному праву, случайно узнав, что на время каникул я нахожусь в свободном полете, устроил меня на оплачиваемый исследовательский проект в крупную бостонскую юридическую фирму. Восемьсот долларов за то, чтобы провести сравнительный анализ шести разных способов, которыми солидная фармацевтическая компания могла бы избежать иска из-за лекарства от диабета, вызвавшего инсулиновый шок у восьми пациентов в Новой Англии.

– По-настоящему вкусишь нашего таланта пачкать руки грязными делишками крупных корпораций, – сказал мне партнер⁶⁰ юридической фирмы, когда я вошел в его офис.

В канун Нового года я нашел-таки лазейку для фармацевтического гиганта; юридическую уловку, которая позволила бы им спасти многие миллионы, отбившись от претензий разгневанных пациентов. Партнер был впечатлен. Так же, как и швейцарский представитель фармацевтической компании, который руководил северо-восточным филиалом. Он сообщил, что главный офис в Цюрихе хочет предложить мне поощрительную премию. Дополнительную тысячу долларов. Я согласился, даже несмотря на то, что партнер, пригласивший меня выпить после этой встречи, отметил за вторым martini с бифитером мою глубокую амбивалентность по поводу столь щедрого вознаграждения (1800 долларов – целое состояние в 1977 году) за выполнение корпоративной грязной работы. Партнера звали Прескотт. А его супругу – Мисси, и они воспитывали двух маленьких дочек – Клариссу и Эмелин. Жили они в большом доме в колониальном стиле в Бруклине. Когда вторая глубинная бомба с джином и вермутом развязала ему язык, Прескотт рассказал мне, что женился в двадцать пять, стал отцом в двадцать семь, партнером в этой фирме – в двадцать девять, и снова стал отцом в тридцать один.

– Двухлетние интервалы, похоже, моя фишка, – усмехнулся он, закуривая сигарету «Тарейтон». – Точно так же, как я выкуриваю только две штуки в день, обычно с крепким коктейлем, прежде чем отправиться домой, в свою восхитительную жизнь.

⁶⁰ Партнер – самая главная должность в юридических фирмах США. Основу структуры юридической фирмы составляют наемные юристы, выполняющие основной объем работы.

«Восхитительную для кого?» – хотел я спросить, но не осмелился.

– Полагаю, и ты скоро обзаведешься всем этим. – Партнер затушил вторую сигарету и тотчас закурил третью, не преминув заметить: – Конечно, Мисси учует запах, как только я переступлю порог, и узнает, что я превысил квоту на табак и выпивку ровно на единицу того и другого.

Она что, устанавливает для тебя лимит на коктейли и сигареты? Разве Мисси твоя мамочка?

Надо же, сколько подрывных мыслей таится на дне глубокого бокала коктейля.

– Ты не ответил на мой вопрос, – произнес партнер заплетающимся языком.

– А был вопрос? – удивился я.

– Возможно, просто умозаключение об очевидном будущем.

– Неужели моя судьба настолько очевидна?

– Только если ты позволишь ей быть такой.

Как это сделал ты?

Я промолчал. Тогда партнер продолжил:

– Правда в том, что у тебя явный аналитический талант к договорному праву. И к поиску слабых мест в аргументах оппонента. Так что ты произвел серьезное впечатление на группу элегантных, морально отвратительных руководителей швейцарской фармацевтической компании... и при этом выставил нас в лучшем свете. Поскольку я сам учился в юридической школе Гарварда, знаю, что у тебя нет времени заниматься какой-либо внеклассной работой в течение семестра. Но я уверен, что смогу найти тебе хорошо оплачиваемую летнюю подработку в следующем году.

– Звучит многообещающе, – сказал я, в то же время думая: «Но мне бы хотелось провести большую часть следующего лета в Париже... хотя не знаю, захочет ли Изабель, новоиспеченная мама, увидеть меня снова».

– Однако я ничего не собираюсь тебе предлагать, – сказал партнер, размахивая только что поданным, уже третьим, бокалом мартини, – пока ты не ответишь на мой гребанный вопрос.

Я улыбнулся, зная, что ответ сыграет мне на руку.

– *Полагаю, и ты скоро обзаведешься всем этим? Это твой вопрос?*

– Именно.

– Все мы – архитекторы наших собственных тюрем. Я еще не решил, как выглядит моя.

Мне хотелось рассказать об этом разговоре Изабель. Вслух задаться вопросом, обрекаю ли я себя на карьерный путь, к которому не лежит душа. Я знал, что получил своего рода когнитивную встряску, изучая хитросплетения права: его судебные нюансы и многослойные интерпретации. В юриспруденции так мало эмпирического. Умение манипулировать фактами, чтобы вынести решение в свою пользу... это сродни написанию романа (не то чтобы я думал замахнуться на литературное творчество или имел хотя бы малейшее представление о том, как построить с нуля такое грандиозное вымышленное предприятие). А еще я хотел спросить Изабель, как развивается ее беременность; все, что было связано с этой женщиной, по-прежнему много значило для меня.

Но я отбросил эту идею в сторону. И еще раз сказал себе: все кончено. Она ясно дала это понять в своем последнем письме. Надо просто принять это как данность. И не заикливаться на мысли, неоднократно посещавшей меня в течение той сумасшедшей недели с Шивон: вся эта безумная ненасытная похоть лишь высвечивала боль расставания с Изабель. Секс с ней никогда не был просто сексом. В нем чувствовалась любовь... даже если она никогда не могла произнести это слово, говоря о нас.

Я подумывал ограничиться хотя бы рождественской открыткой. Но решил, что будет лучше уважить ее настойчивую просьбу прекратить всякие контакты.

Занятия в юридической школе возобновились через несколько дней после наступления Нового года. Все вернулось в прежнее русло – аскетическое, монашеское. Я привычно погрузился в учебу. Шли месяцы. В начале апреля зима отступила, намекнув на скорую весну. И вдруг, спустя считанные дни, ртутный столб пополз вниз, и невесть откуда взявшаяся метель обрушилась на Бостон и его окрестности на тридцать шесть часов. Густая пелена белых хлопьев, спускающаяся сверху, небесным ластиком стирала периферийное зрение. Передвижение по городу было ограничено, да и почти невозможно. Занятия отменили. Работу общественного транспорта приостановили. Автомобилистам запретили выезжать на дороги, пока не закончится снежная Ниагара.

На второй день меня одолел синдром замкнутого пространства. Я нацепил тяжелые ботинки, свой единственный толстый свитер, куртку, шарф, перчатки и бросил вызов внешнему миру. Похоже, во всем городе только я один оказался дураком, решившимся на столь экстремальную вылазку. Но я все-таки добрался до юридической школы. Входная дверь была не заперта, и я ввалился внутрь, с ног до головы облепленный снегом, который тотчас начал таять в жарко натопленном помещении. В вестибюле стоял торговый автомат, где за четверть доллара продавали жидкий кофе, горячий шоколад или поганый чай. Я предпочел шоколадный удар. Когда машина помочилась светло-коричневой жидкостью в хрупкий пластиковый стаканчик, я решил заглянуть в свой почтовый ящик, хотя и полагая, что он пуст.

Но я ошибся.

Меня ждало письмо. Французская марка, почтовый штемпель шестого округа Парижа, ее характерная каллиграфия черными чернилами. Мое сердце пропустило сразу несколько ударов. Я судорожно вскрыл конверт; моя естественная склонность к неизбежному плачевному исходу заставляла меня ожидать худшего. Я пробежал глазами текст, выделяя две контрольные отметки: вступительное приветствие и прощальную подпись. Первое было на английском языке:

Дорогой Сэмюэль.

А концовка на французском:

Je t'embrasse très fort.

Многообещающе.

Я вчитался в то, что было написано между ними.

Прости, пожалуйста, за опоздание с этим письмом. Моя дочь, Эмили Ирен де Монсамбер, родилась седьмого марта 1978 года. Ее вступление в мир было не самой легкой прогулкой. Я рожала больше двенадцати часов. Возникла угроза, когда обнаружилось обвитие пуповиной. Началась контролируемая паника. Экстренное кесарево сечение. Немедленная анестезия для мамы – против чего я бунтовала, поскольку мне хотелось быть в здравом уме в момент ее прибытия в этот чудесный бордель, который и есть жизнь. Но, когда мне вспарывали живот, пришлось отключиться от реальности на несколько часов. Проснувшись, я снова принялась кричать. Потому что увидела, что колыбелька рядом с моей кроватью пуста. Естественно, я предположила худшее, и тут же подумала: если у меня отнимут и этого ребенка, я просто не смогу жить дальше. Но дежурная медсестра успокоила меня, сказав, что я родила девочку и она находится в отделении интенсивной терапии для «обычного наблюдения», и я снова подумала о худшем. Я настояла на том, чтобы мне позволили увидеть ее, хоть и была крайне слаба. Медсестра отказалась. Я опять кричала. Мой муж – оказалось, он всю ночь проспал в кресле возле моей кровати и вышел покурить, прежде чем я пришла в себя, – вернулся в палату и изо всех сил старался успокоить меня. Он сказал, что был в отделении интенсивной терапии, и там все вроде бы в порядке.

Как я уже говорила, мы назвали ее Эмили, и она поистине восхитительна. У нее аура спокойствия и сияния. Конечно, я дико предвзята. Конечно, я испытываю самую глубокую безусловную любовь к моей необыкновенной дочери. Конечно, я все еще беспокоюсь, что из-за сложных родов могут быть нарушения в развитии, хотя врачи продолжают уверять меня, что все хорошо. Но в этом и заключается проблема прошлой трагедии: она затмевает все. И ты постоянно думаешь, не нацелится ли на тебя снова злая судьба... как в драме, связанной с появлением Эмили на свет. Возможно, это еще одно следствие трагедии: она заставляет поверить, что оболочка жизни не просто хрупка изначально (что почти эмпирическая истина), но может расколоться и поглотить тебя целиком в любой непредвиденный момент.

Но я по природе своей романтик-пессимист; из тех, кто верит, что счастье, если и случается, ужасающе скоротечно. И, перечитывая все написанное, я прошу прощения за свой озабоченный тон. Эмили, хотя и излучает спокойствие, в настоящее время страдает от колик, и всю эту неделю мне удастся поспать не более двух часов подряд без перерыва. С моего благословения Шарль переселился в гостевую спальню.

Вот такие мои новости из Парижа. Помимо того, что я думаю о тебе с любовью и страстью.

Мой горячий шоколад остыл, когда я наконец вспомнил, что он ждет меня в торговом автомате. Трижды перечитав письмо Изабель, я забрал водянистое какао, сделал глоток, поборол искушение глотнуть еще и вышел в арктический вечер. Неподалеку от юридической школы, на Брэттл-стрит, находилось *café*, где подавали *chocolat chaud*⁶¹ с бренди. Напиток делал свое дело, одновременно пронизывая некоторой *nostalgie française*⁶². Я нашел свободную кабинку, отхлебнул какао, заправленного алкоголем, и погрузился в судебную экспертизу, еще четыре раза просматривая письмо Изабель, пытаясь расшифровать его многочисленные подтексты. Или, по крайней мере, я был полон решимости раскопать эти подтексты. Осмысливая подробности кажущейся отстраненности Шарля: то, что он вышел покурить, когда Изабель очнулась после наркоза. То, что они не спали вместе. Не намек ли это на более глубокие проблемы, возникшие между ними? Или это просто принятие желаемого за действительное с моей стороны? Надежда на то, что, когда я появлюсь всего через пять недель и четыре дня, она скажет мне: браку конец, и, если ты не возражаешь воспитывать этого прекрасного ребенка как нашего общего...

Тупое принятие желаемого за действительное.

Я ответил Изабель, нацарапав письмо на линованной бумаге из тетради с конспектами по деликтам. Написал, что очень рад за нее; что имя Эмили звучит превосходно; что надо верить врачам, когда они дают хороший прогноз после сложных родов...

Лишь только закончив письмо, я скомкал бумагу и начал строчить заново. Прекрасно понимая, что советовать Изабель не беспокоиться о дочери – это верх бесчувственности. Лучше не выпячивать свойственный нам, американцам, вечный оптимизм любой ценой. Куда уместнее проявить сочувствие и сказать, что я полностью понимаю, почему она так переживает из-за Эмили, и что я мысленно с ней в ее бессонных ночах и тревогах за новорожденного ребенка.

Поэтому я отправился в офис «Вестерн Юнион» на Гарвард-сквер и отправил ей поздравительную телеграмму, добавив, что у меня будет перерыв после экзаменов (и до начала ста-

⁶¹ Горячий шоколад (*франц.*).

⁶² Ностальгия по Франции (*франц.*).

жировки, на которую я надеялся попасть), и я мог бы приехать в Париж 16 мая на неделю, если она согласна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.